

Энглби

Автор:

Себастьян Фолкс

Энглби

Себастьян Чарльз Фолкс

Майк Энглби – человек незаурядный. В самом деле, как бы иначе выходец из «низов» в 1970-е поступил в Кембридж, а затем сделал карьеру журналиста? Его исповедальный рассказ о собственной жизни, перемежаемый тяжелыми воспоминаниями, – это свидетельство из первых рук, доказывающее, что перед нами – человек, терзаемый комплексами и одновременно наделенный парадоксальным аналитическим умом и феноменальной памятью, человек, способный глубоко понимать литературу и чувствовать музыку. Тем более странными кажутся провалы в памяти Энглби, едва речь заходит о студентке Дженнифер Аркланд, в которую он был тайно влюблен и которая таинственно исчезла ветреной осенней ночью. Косвенные улики, собранные полицией, вроде бы указывают на Энглби, но главный герой не намерен никому давать подсказки – ни следствию, ни читателю.

Себастьян Фолкс

Энглби

Посвящается Гиллону Айткену

Ничтожно мала та часть жизни, в которую мы живем. Ибо все прочее не жизнь, а времяпрепровождение.

Сенека. О скоротечности жизни, глава 2 (49 г. до н. э.) [1 - Перевод Т. Бородай.]

Sebastian Faulks

ENGLEBY

Copyright © Sebastian Faulks, 2007

© Издание на русском языке, перевод на русский язык. Издательство «Синдбад», 2018.

Глава первая

Меня зовут Майк Энглби, и я уже второй год учусь в одном старинном университете. Мой колледж основан в 1662 году, по здешним меркам его здание считай что современное. Часовня – по проекту не то Хоксмур, не то Рена; сады вокруг разбиты тоже кем-то известным. Резьба на хорах – работы того единственного краснодеревщика, о котором вы слышали. Капитан наших лодочников в прошлом году взял золото на международных гонках. (Кажется, он физик.) Капитан крикетной команды играл за Пакистан, хотя английский у него – как у принца Уэльского. Среди преподавателей (по-здешнему – «донов») имеются три профессора; один, известный как Игуанодон, недавно рассказывал на радио про ящериц.

Сегодня вечером я не собираюсь сидеть за домашним заданием, потому что у нас еженедельная встреча в фолк-клубе. Там будут почти все парни нашего колледжа. Не столько ради музыки (она там, кстати, вполне ничего), сколько ради студенток, которые туда собираются в большом количестве. Не придут только безнадежные зубрилы и те, кто считает, что фолк умер, как только Боб Дилан сменил акустическую гитару на электрическую.

На этих встречах я несколько раз видел одну девчонку, Дженнифер Аркланд. Имя я узнал из списка кандидатов в студенческий союз. На выборных плакатах были маленькие фотографии, под ними имена, фамилии и кое-что о каждом кандидате. Под снимком Дженнифер значилось: «Стипендиатка по истории, второй курс. Училась: в лимингтонской средней школе и Сорбонне. Увлечения:

музыка, танцы, киносъёмки, кулинария. Сторонница демократизации студенческого союза – за счет большего участия женщин в общественной жизни – и неформальных встреч на природе».

Она попадалась мне и в кафетерии университетской библиотеки, обычно с парочкой сокурсниц, одна толстая, зовут Молли, другая – суровая брюнетка, имени я не расслышал. Около них часто крутились то Стив из Крайст-колледжа, то Дэйв из Джизес.

Для начала надо было прибиться к ее кругу. Точнее, к кружку. Не важно, в каком она. У них у всех короткие названия. Литкружок, химкружок, маткружок. Возможно, есть и кружкружок, где плетут какие-нибудь кружева.

Надо будет выяснить про ее кружок, а там и разузнать о ней побольше.

* * *

Я получил стипендию, покрывающую саму поездку в университет и учебные расходы; родители у меня бедные. Сдав экзамены, я сел в поезд и поехал в колледж на собеседование. Пересаживался я в Лондоне и, по идее, провел там какое-то время, только совершенно этого не помню. Странная у меня память. Я помню мельчайшие детали, но в самом ее полотне зияют дыры. Помню, как на станции я сел в автобус, хотя понятия не имел, как выглядит мой колледж. В итоге объехал весь городок и снова оказался на станции – получилась обзорная экскурсия. Потом я взял такси; чтобы расплатиться, пришлось занять денег у привратника. Фунт в кошельке у меня так и лежал, мало ли что.

Мне выдали ключ от комнаты; общежитие было во внутреннем дворике, путь туда лежал через подземный переход. Я попытался вообразить себе соседа по общежитию. Некто по имени Тони, с бородкой и в дафлките. Я честно старался заранее проникнуться симпатией к самому колледжу и к комнате, где сегодня заночую. Представил, как ранним утром еду на велике на лекции, и рулить трудно из-за кипы учебников в багажнике. Как покрикиваю другим парням: «Увидимся!» Надо бы купить трубку. Возможно, даже завести подружку – строгую отличницу в очках, не самую тут популярную.

Комната мне не понравилась. Сырая, тесная, я кожей чувствовал, сколько в ней перебивало народу. Не очень древняя, на XVII век не тянула, но и не современная: года так пятьдесят пятого. Ванной не было – она оказалась рядом с лестницей. Там было очень холодно, так что, пока наберется вода, я ждал одетый. Зато вода оказалась очень горячая. И в самой комнате, и на лестнице слабо пахло газом и линолеумом.

Я неплохо выспался, но на завтрак в столовую решил не ходить, чтобы не общаться с другими абитуриентами. Я вышел на улицу, обнаружил кафе, где взял жидкий кофе и булку с сосиской и расплатился тем самым фунтом на «мало ли что». В колледж я вернулся через главный вход. Привратник угрюмо буркнул из промозглой будки с керосиновым обогревателем: «Джи-двенадцатый сектор, кабинет доктора Вудроу». Кабинет я нашел легко. У двери ждал еще один парень. С виду умный.

Наконец дверь открылась, и пригласили меня. Внутри сидели двое: один солидный, похожий на директора школы, указал мне на стул, сам сел за стол; второй – помоложе, худой, с бородкой – даже не поднялся из кресла. У нас в школе учителя бороды не носили.

– Вы неплохо написали по Шекспиру. Часто бываете в театре? – спросил тот, что постарше. Вопрос казался слишком безобидным, и я заподозрил подвох. Ответил, что у нас в Рединге театров нет.

Я не сводил с него глаз. Шикарно же – быть доктором чего-нибудь, взвешивать и вершить судьбы мира. Однажды в посудной лавке я видел набор пластиковых салфеток с академиками в мантиях: доктор богословия, магистр искусств и так далее. И вот впервые вижу настоящего доктора. Он задал еще несколько вопросов, тоже весьма банальных.

– ...Поэтика Элиота. Не могли бы вы сравнить творчество Элиота и Лоренса?

Это впервые подал голос бородач. Я подумал – издевается. Американский банкир, увлеченный англиканской литургической ритмикой, и сын шахтера, мечтавший вырваться из своего Ноттингема – хоть через секс, хоть через такую же приземленную живопись. Как их сравнивать? Я внимательно посмотрел на бородача, но он был абсолютно серьезен, и я стал разбирать использование каждым из них одних и тех же стихотворных форм, стараясь, чтобы это звучало

как вменяемый ответ. Он несколько раз кивнул, вроде бы довольный. И тему развивать не стал.

Другой, постарше, еще раз пролистал мои бумаги.

– Тут характеристика, – наконец произнес он, – от вашего учителя... У вас с ним были разногласия?

– Ничего такого не знаю, – сказал я.

– Есть какие-нибудь вопросы про здешнюю жизнь? Мы стараемся, чтобы все чувствовали себя как дома.

Надо было о чем-то спросить; подумают еще, что мне по фигу. Но спросить о том, что действительно волновало, я не решался. В повисшей тишине куранты колледжа гулко пробили полчаса. Я чувствовал, как оба смотрят на меня. По спине скатилась струйка пота. Вообще-то я почти не потею, вот, кстати, и вопрос:

– Как быть с постирушками?

– С чем? – сухо переспросил старший.

– У вас эти... какие-нибудь машины, ну эти... стиральные? Есть тут прачечная или белье надо куда-то относить? Сдавать?

– Джеральд? – обернулся он к бородачу.

– Насчет белья я не в курсе, – отозвался тот.

– Каждому первокурснику полагается куратор, – сообщил профессор. – Это член совета колледжа, с любыми возникшими вопросами обращайтесь к нему.

– Значит, я могу обратиться непосредственно к нему?

– Можете. Да, я полагаю, что можете.

Контакт был налажен, и я осмелел:

- А что насчет денег?

- Простите?

- Сколько мне понадобится денег?

- Полагаю, сумму гранта определяют ваши местные власти. Вам самому решать, как ею распорядиться. Есть какие-нибудь вопросы относительно вашей темы?

- Нет, я уже просмотрел краткое содержание.

- Вас не очень смущает перспектива заняться Чосером?

- Нет, я люблю Чосера.

- Ах, ну да, ну да. Вы нам об этом писали. Ну что же, мистер Энгл... мм...

- Энглби.

- Энглбери. Можете идти, если у моего коллеги... Джеральд?

- Нет-нет.

- Отлично. В таком случае увидимся осенью.

Я не понял, почему они не сообщили мои результаты, и рискнул уточнить:

- Так я получу стипендию?

- Мы сообщим в вашу школу. Когда подведем итоги всех собеседований. Год выдался непростой.

Я пожал протянутую профессором руку, помахал бородатому в кресле и по дубовой лестнице спустился вниз. Вот же аферисты!

* * *

Вечером, выдрав талон из книжечки, я спускаюсь в столовую, интерьер которой был создан еще Робертом Адамом. В каждом новом семестре полагается купить книжечку из тридцати пяти талонов; предъявлять их не обязательно, но этот аванс позволяет кухне не прекращать работу. Я в длинной черной мантии, в канделябрах на расписанных оштукатуренных стенах горят свечи. Когда открывается дверь позади главного стола, мы встаем. Глава нашего колледжа – океанограф – когда-то картировал подводные хребты. Он знает, чем Австралия крепилась к Китаю и как Гана сконденсировалась у подножия Анд. Новая Зеландия у него, видимо, откололась от Германии.

Пламя свечей играет в хрустале. Преподаватели пьют вино. Мы – воду, хотя разрешено и пиво. Но его пьет один Стеллингс.

– Робинсон, пинту эля, пожалуйста, – говорит он застывшему в поклоне официанту. – Тебе тоже пива, Майк?

Я мотаю головой. Пиво Стеллингс варит сам – в пластиковом бочонке. Он называет это пойло СД («студенческий джин»: пьяный за пенни, в хлам за два) и однажды все же уговорил меня попробовать, хотя меня мутило от резкого привкуса солода и спирта (Стеллингс кладет в два раза больше сахара, чтобы лучше забирало). Рядом с комнатой Стеллингса ванной нет, так что, когда подкатило, пришлось блевануть в канистру из-под воды, стоявшую на лестнице.

Я не всегда ужинаю в столовой – тут есть места поприятнее. Одно из них – паб, до него минут пятнадцать ходу, мимо травяного газона (их тут полно, поздешнему – «лужайки»), потом по боковой улочке в переулок. Пиво там гораздо вкуснее, чем бурда Стеллингса. Из пивоварни «Грин Кинг». Один из этих Кингов, говорят, знаменитый писатель.[2 - Имеется в виду Грэм Грин.] Свет в пабе приглушенный, пол дощатый. Остальная публика – не университетская. Так сказать, простые люди, – хотя любой человек слишком сложен, чтобы называть его простым. Тут полумрак, разговаривают вполголоса. Бармен меня знает, однако с советами не лезет. Обычно я беру запеченный картофель или пирог с сыром и ветчиной – есть его неудобно, липнет и тянется, так что между слоями

тонкого теста ничего не остается.

Пью я джин с вермутом. С красным, он вкуснее белого. После двух-трех бокалов мир становится понятнее. По крайней мере, его непонятность уже не так раздражает. И собственное невежество не так бесит. После трех-четырех порций в нем проступает даже некая барственность.

Иногда я отправляюсь в центр городка, в чудесный греческий ресторан. Одному туда являться, правда, неловко, но очень уж все вкусное: мусака с рисом и картошкой фри, греческий салат, свежая пита, оливки, хумус, так что если сильно проголодался – это туда. Бывает, я два-три дня обхожусь без обеда, так что поневоле приходится идти на дозаправку. Греческую еду я запиваю белым вином; оно малость отдает гелем для унитаза, но все вместе вполне приемлемо.

Еще я принимаю наркотики. Перепробовал почти все. Больше всего понравился опиум, хотя мне удалось им разжиться только раз. Его трудно достать, и для курения нужна особая трубка и лампа с фитильком, – морока, короче. Мне продал его парень, а ему – один из сотрудников с кафедры современной истории в Корпус-Кристи-колледже, привез откуда-то с Дальнего Востока. С опиумом такое дело, что когда ты под ним, то нет ни боли, ни проблем. Если в этот момент тебе начнут рассказывать про «Циклон Б», или что твои родители при смерти, или про отделение для слабоумных, или про бойню при Пашендейле, ты все поймешь, конечно, – но как бы вообще. Тебя даже заинтересует само понятие «боль», но чисто абстрактно. Вот меня, скажем, интересует специальная теория относительности; что существует измерение, в котором пространство сворачивается, а время изменяет свое течение, так что назад из путешествия можно вернуться моложе, чем ты в него отправился, и это правда щекочет нервы, но никак не влияет на мою каждодневную жизнь. Вот так и опиум соотносится со страданием: превращает его в предмет чисто абстрактного любопытства.

В основном я курю марихуану, покупаю у парня по имени Глинн Пауэрс. Не знаю, где он сам ее добывает, но хранится она во встроенном прикроватном шкафчике у него в комнатухе – в новом корпусе, Квин-Элизабет, прямо за Членскими Лужайками (ходить по которым можно только донам). Корпус открывала принцесса, всего три года назад, и в холле за вестибюлем рядом с мемориальной доской имеется фото ее высочества в одной из комнатшек. Она улыбается ректору колледжа, а на дальнем плане виднеется шкафчик. Стены там из голого кирпича: по завершении строительства кубатура комнат оказалась ниже

норматива. Только сбив штукатурку, удалось получить те несколько сантиметров, которые позволяли уложиться в предписанную Министерством по вопросам местного самоуправления минимальную норму на человека.

Глинн держит в шкафчике весы с полированными чашечками и медные гири – граны, драхмы и унции. Мене, мене, текел, упарсин:[З - Слова, начертанные на стене дворца во время пиршества вавилонского царя Валтасара. Призванный им пророк Даниил объяснил смысл их так: Бог исчислил царство твое, оно взвешено на весах и разделено (Дан. 5: 25–28).] ты взвешен на весах и найден слишком легким. Не то чтобы я ссорился с Глинном Пауэрсом или находил его слишком легким: у него кожаная куртка с длинной, на полспины, бахромой, модная ухоженная борода и мотоцикл. А у меня – ничего такого и близко нет. Он специализируется по инженерному делу. Сам не курит, и в этом мне видится что-то зловещее.

Так вот, сегодня вечером у нас Фолк-клуб. В баре нашего колледжа, потому что какой же фолк без пива – в данном случае без «Дабл Даймонда» или шипучего «Уортингтон Брайдана»; профессиональный бармен – его нанимают на два часа, после студенты сами обходятся – предлагает пинту бесплатно, если сможешь выпить не дольше чем за пять секунд. И ведь справляются люди, сам видел.

Велосипеды начинают прибывать часам к семи. Полосатые шарфы, куртки, дешевые сигареты; почти у всех парней волосы до плеч, но, выращенные из школьной стрижки, упрямо распадаются на прежний пробор. Во всех дворах и коридорах висят отпечатанные афиши: «Хобгоблин», гласят они. «Авалон». При поддержке группы Тима Уиллза и Стива Мюррея. После перерыва: «Лайонесс». Гвоздь программы – «Расщепленный инфинитив».

Когда в баре стало побольше народа, я тоже туда пробрался. Судя по всему, раньше тут был погреб. Стены из белого кирпича вскоре начали запотевать.

Еще перед выходом из своей комнаты я принял джина и таблетку нембутала, для раскрепощения. А в баре закурил. Обожаю сигареты. Мне нравится влажноватый аромат табака, когда делаешь самокрутку; из фабричных люблю «Ротманс кинг сайз» – у них на рекламе еще мужская рука с сигаретой на рычаге переключения передач, торчащая из темно-синего рукава с золотыми нашивками. (Летчик или морской офицер едет в машине в парадной форме – зачем? Красуется перед невидимой нам спутницей? Или рычаг тут не просто рычаг? В таком случае на нем, по идее, должна лежать женская ручка?)

Нравится тонкая бумажная ленточка, вроде книжной закладки, потянешь за нее – и сигареты выскочат через одну, чтобы удобнее было брать. (Вдруг подумал, ведь это одно из самых благородных проявлений внимания к покупателю, на какое может пойти производитель. Озаботиться этой тонкой ленточкой, пропускать ее под сигаретами, и все ради того, чтобы курильщик не злился, что сигарета не лезет из тугой пачки, и не мял остальные... Сколько изобретательности и заботы, притом что для второй сигареты ленточка уже не нужна – когда в пачке освободилось место, остальные вынимаются сами. Когда-нибудь какой-нибудь бухгалтер сообразит, что, сэкономив на ленточке, можно повысить продажи на тысячу фунтов в год, – и ее перестанут делать. Ради какой-то тыщи!) А еще мне нравится выпустить изо рта немного дыма и тут же снова резко его вдохнуть как можно глубже. Нравятся сигареты «Голд лиф», в их рекламе по телевизору еще парень стоит на холме, рядом рыжий сеттер. Или спаниель? Нравится мягкий вкус «Пикадилли», поджаристый – «Лаки страйк» и «Честерфилда» и то, как обжигают небо французские сигареты – будто вдохнул жар паяльной лампы. Никотин хорошо совмещать с алкоголем: получается синергический эффект – куда действеннее, чем последовательная сумма компонентов.

Я перепробовал всякие марки. Сегодня курю «Кент» с белым фильтром – отлично подходит к красному вермуту из бара. Парень за стойкой не знал, сколько полагается наливать, так что набуровил мне полный бокал, а я еще и льда положил. Постараюсь растянуть удовольствие на час.

Все диваны и кресла завалены куртками. А как только начались танцы, к курткам добавились свитера, пиджаки и сумки. Я видел Дженнифер, Молли и Энн и мог без помех их разглядывать. В группе «Авалон» есть скрипачка и солистка в платье из мятого бархата, с совершенно прямыми волосами и необычным вибрато.

Сколько же лет этим песням? Должно быть, они восходят еще к устной традиции. Одну я даже начал записывать: «Далёко-далёко / Любимый мой. / Он уплыл [нрзб.] ранью, / Но не стану я плакать / Ночную порой / В серебряном лунном сиянье. / Ты прости-прощай, говорил моряк / И сжимал ее тонкие руки. / Тот серебряный свет да Хебденский дол[?] / Нас привели к разлуке, мой сэр, / Нас привели к разлуке». Разобрать текст мешали ударные. Вряд ли первые барды пели в микрофон в сером чехле, укрепленный на ударной установке.

Я прижат к запотевшей колонне... Стою и смотрю. Тело обрело опору.
«Серебряный лунный свет, мой сэр...»

Я еще вернусь в Фолк-клуб, в этот самый миг, шумный и дымный, но на мгновение позволю себе небольшое отступление.

* * *

У меня есть машина, я держу ее у корпуса Квин-Элизабет, на парковке для научных сотрудников. Время от времени привратники лепят на ветровое стекло записки с последним предупреждением. Записки я сдираю.

И отправляюсь в какую-нибудь деревеньку. В них есть указатели с трехзначными цифрами, врытые в травяной треугольник на развилке дорог. Есть каменные плиты с обозначением миль, отклонившиеся назад под напором живой изгороди, летом тяжелой от разросшегося боярышника и купыря. Есть воинские обелиски (надписи на которых, возможно, я один и читаю) и церкви из дикого камня, отделанные кирпичом и плиткой. А главное, там есть пабы, где пиво совсем не такое, как в нашем студенческом баре, в котором его наливают из металлического бочонка, с закачанным туда углекислым газом, отчего появляется привкус газировки. В деревне пиво без добавок подается прямо из подвала по длинному тонкому шлангу и делает «вушш!», когда темно-янтарная струя льется в бокал, – потом чуть оседает, когда отпускают ручку насоса; тут ручка опускается снова, и вздымается новая волна, сверкает, достигает краев и замирает под тонким венчиком пены; теперь – оставшиеся последние капли; после чего бокалу нужно постоять на впитывающей салфетке и поймать свет настенных кованых, под старину, ламп бара «Сноп», или «Зеленый человечек», или «Красный лев», – заведений, куда может зайти любой, где тебя ни с кем ничто не связывает и оттого не задевает, где ты – никто.

Звучит так, будто я что-то скрываю? Пожалуй. Знать бы только что.

Иногда я остаюсь там на ночь, но не потому, что опасаясь сесть за руль. В пабе обычно есть пара номеров: сырых, с махровым покрывалом на кровати и ванной в конце коридора. Ничего идиллического. Завтраком я не заморачиваюсь – главное, поскорее выехать в путь. Первокурсникам водить машину не разрешается, но я записался в гольф-клуб «Ройал Уорлингтон» (куда ни разу не ходил), и этого оказалось достаточно, чтобы для меня сделали исключение.

Спорт тут поощряется. У меня бутылочного цвета «Моррис-1100», купленный из третьих рук за сто двадцать пять фунтов, которые я заработал на бумажной фабрике. Он меня ни разу не подвел, только выхлопная труба отвалилась, пришлось примотать проволокой. На нем я проехал всю Восточную Англию: Сэнди, Поттон, Бигглсуэйд, Ньюпорт-Пагнелл, Хантингдон, Сафрон-Уолден; добрался даже до Кингз-Линна (или Линкольна?). Домики там стоят на современных участках, в рядок вдоль шоссе, с подъездными дорожками, окаймленными подстриженными лавровыми кустами.

Что там за люди живут? – спрашиваю я себя. Кто они такие? Клюшки у меня всегда при себе, в багажнике, и я иногда останавливаюсь, если вижу поле для гольфа, и загоняю мяч в пару-тройку лунок. В гольф-клубе секретарь – неприятный тип, да и раунд стоит дорого.

* * *

...А теперь продолжаем трансляцию: выступает гвоздь программы – «Расщепленный инфинитив». Собственный голос услышать невозможно. Вижу, как Дженнифер тянет шею к Нику, который что-то орет ей в ухо, как в следующий миг она отстраняется, улыбаясь и мотая головой, давая понять, что ничего не разобрала, и как он пожимает плечами, давая понять в ответ, что ничего особенного не сказал (что неудивительно). Молли, Дэйв, Джулия и еще несколько человек, незнакомых, танцуют. Собравшись к бару за новой порцией, я обнаружил, что мои ботинки прилипли. Резиновые подошвы отрываются от залитого пола со звуком рвущейся бумаги. Пахнет пивом, по?том и сексом.

Публика в неглаженных футболках выскакивает на улицу остыть, подставляя мокрые физиономии холодному ветру. От сквозняка между домами больно дышать. Фолк-клуб. Лучший вечер недели.

* * *

На другой день я пошел на собрание «Джен-кружка». В Джизес, там я никогда еще не бывал. Внутри собралась очередь на пьесу «Суровое испытание».[4 - Пьеса Артура Миллера, 1953 г. (Прим. перев.)] Каждый колледж, как видно, считает своим долгом раз в год поставить что-нибудь из этого набора: «Суровое испытание», «Трехгрошовая опера», «Добрый человек из Сезуана». «Суровое

испытание» – это про американских пуритан, гуди такая-то, гуди сякая-то, пьеса про ханжей с современными аллюзиями. Студентам нравится, помогает ощутить себя борцами за права.

Джизес-колледж ошибок не прощает. Зазеваешься – и заблудился. Другие колледжи следуют канону: большие ворота, ведущие на тротуар, в них встроена деревянная дверь. Джизес – совсем другое дело: он скорее как школьный комплекс посреди собственной парковой зоны. Рядом с одной из игровых площадок стоит легкий фахверковый павильон.

К тому времени, когда я наконец нашел нужную дверь, выходящую в заросший плющом внутренний дворик, как в школе Грейфриар, где учился Билли Бантер,[5 - Билли Бантер – герой юмористических рассказов Фрэнка Ричардса (псевдоним писателя Чарльза Гамильтона), толстый очкастый школьник, лентяй и жадина. Первый рассказ вышел в 1908 году, с тех пор про Билли Бантера снят не один фильм и написана не одна книга.] собрание уже началось. Я прокрался внутрь перед самым началом голосования: поддерживать ли Аьенде в Чили и надо ли помогать Никарагуа, с учетом того, что разовый оргвзнос вырастет до пятидесяти центов, и означает ли это еще и вино, или ограничимся, как раньше, кофе с печеньем? Я был за вино, пусть даже из Чили, но решил на первый раз воздержаться от выступления, тем более что я уже принял в баре «Футболисты» две пинты «Эбботс эля», запивая две ежевечерние голубые таблетки по десять миллиграммов. Дальше разговор перешел на летние поездки. Тема Манагуа развития не получила, зато возник Париж. Несколько парней возразили, что им это дорого, тем самым выставив Дженнифер (это она предложила Париж) эдакой Марией-Антуанеттой. Кто-то помянул «рабочий класс», применительно к себе, вызвав одобрительный гул. Я уловил, как минимум две девушки заерзали на стульях, разглядывая парня, которому не по карману Париж.

После собрания все разобрали кофе с печеньем и стали болтать. Дженнифер держалась спокойно и дружелюбно, хоть ее и подкололи из-за Парижа. Я попытался представить себе, какая у нее комната. Какая у нее жизнь. Лимингтонская школа. Интересно, ее родители все еще там? И где вообще этот Лимингтон? Джен была в новых джинсах клеш, кожаных сапожках и серой водолазке из чего-то типа кашемира. Воротник был не совсем как у водолазки, не тугой, а свободно свисающий спереди – как капюшон наоборот. Не знаю, как называется такой фасон; но он открывал спереди ее шею, чуть порозовевшую. Волосы у нее были светлые и вьющиеся, но тонкие; когда она откинула их в сторону, я увидел ухо, а под ним, у самого края серого воротника, две маленькие

родинки. Она запихивала бумаги в сумку и прощалась; сумка была светло-коричневой кожи, из какой шьют патронташи и портупеи.

* * *

Иногда я представляю себе, как там у них живут, в женском колледже. Как-то так, наверное:

Ноябрь, пятница, пять вечера. Над рекой клубится туман, подползая постепенно к старинным викторианским корпусам, где живут студентки, – чуть в стороне от города. Дорогу освещают фонари велосипедов, машины едут с опаской, еле-еле, ведь дорогу оккупировали девушки – и кудрявые толстушки, и стройные азартные спортсменки, с фонарями на руле и на багажнике, – королевы вечернего шоссе.

А в общежитии колледжа уже поставили чайник и задернули занавески, как только над болотистыми далями стали сгущаться сумерки. К востоку от города нет, как говорят, ни единого холмика до самых Уральских гор, потому и холод такой – нет никакой защиты от ветра из русских степей. Это первое, о чем предупреждают новичков, с расчетом, что те непременно передадут это друзьям и напугают в письме родичей. Это шибболет, своего рода пароль, подтверждающий, что ты теперь здешняя.

После гонки на велосипедах девушки разругались; их лица покраснели от уральского ветра. Ветра Красной России с коммунистических гор, с гигантских советских заводов. Некоторые студентки возвращаются пешком, кто из университетской библиотеки, кто из магазинов. Вот Дженнифер быстро шагает по коридору, веселая и довольная, все у нее замечательно. С ней подружка Энн, темненькая, она с севера. Чаепитие предстоит у Энн в комнате, там есть газовая плитка. Входит Молли, она купила в городе бисквит с вишнями. Все рассаживаются – кто на стул, кто на кровать, кто на пол. Места мало, но в это время обязательно играет музыка – на дешевом проигрывателе Энн стоит какой-нибудь бард, менестрель с буйной шевелюрой, – вечерняя музыка для девочек в джинсах и шелковых шарфах, связанных узлом или стянутых серебряным марокканским колечком с филигранью. Глаза и губы подкрашены совсем чуть-чуть: дневной макияж. На Энн круглые очки. Поет Кэт Стивенс. В «Джуиш хроникл» сказано, что вообще-то он Стивен Кац. Действительно, физиономия

иудейская; вполне может быть, что Кац и есть.

Работы полно, но в полседьмого надо обязательно быть в столовой, а чай допили почти в шесть, братья за учебники глупо. Лучше просто поболтать. Дженнифер читает сейчас Карлоса Кастанеду. Под подушкой у Энн – «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». А еще сегодня были лекции по истории, физике и антропологии и инструктаж у донна. Они болтают и болтают, так что не слышно музыки. Молли из Портсмута, у нее там парень, может, приедет; ее дыхание пахнет чаем и вишнями. Хотя бы на летний бал приехал. Обе подружки ей сочувствуют. Парней не поймешь, считают все три. Вроде задника сцены: яркие, влекущие. Но на самом деле все плоско.

У Дженнифер в колледже полно подружек, и парни мало ее волнуют. Энн пытается иногда расшевелить подругу, ей такая отстраненность кажется странной. Сама боится себе признаться, что постоянно думает о мужчинах. Точнее – о мужчине, своем мужчине – существе еще не до конца воображенном, так что все его качества очень условны, кроме одного: существо это – мужского пола.

Из коридора доносятся звуки. Смех, звяканье посуды, из открывшейся двери долетает пара музыкальных фраз, пока дверь не захлопывается.

Звучит гонг к ужину. Свет постепенно гаснет...

Так мне это представляется, но что там на самом деле, я не знаю.

Пожалуй, весь этот флер и задушевность, музыка и кекс... Многовато сантиментов!

Правда скорее такова: Энн, Молли и Дженнифер, как все женщины, зациклены исключительно на внешнем – фасоне, расцветке, фактуре; их не волнуют ни идеи, ни духовные искания, – только «стиль» и статус плюс ненасытное приобретательство обновок, подчеркивающих то и другое. Под их задушевностью таится жесткое соперничество, которое останется с ними до скончания их дней и в котором они ни за что себе не признаются. Энн и Дженнифер притворно восхищаются дружкой Молли (то ли Барри, то ли Гарри), но на самом деле мечтают заполучить себе такого же, только побогаче,

покрасивей и получше.

Друг друга они тоже интересуют мало, ибо по своей сути женщины – существа приземленные. Сколько бы лекций они ни законспектировали сегодня, они все те же машины для борьбы за ресурсы, утробы для воспроизводства вида.

Наверное, тут я тоже перегнул палку и слишком к ним суров. Хотелось бы знать, возможно ли это в принципе – осознать, что ощущает другой человек. Совсем не факт, что Дженнифер, Молли и Энн сознают хотя бы самих себя. Думаю, какие-то базовые вещи они наверняка принимают как данность – просто потому, что не представляют себе жизни без них. Сдается мне, все, о чем они говорят, что пытаются изменить или полагают важным, – вещи весьма тривиальные. Это как если бы кошка задалась вопросом о своем хвосте или глазах, не понимая, что их фундаментальное свойство – что они кошачьи.

Понятно, что тут они бессильны. Им не дано увидеть большего, как мне не дано увидеть собственных странностей. Но в одном я уверен: эти девчонки лучше адаптированы, чем мы. У них есть душевное равновесие; у них есть вкус к жизни.

Вечерами я брожу в одиночку. Тут есть гостиница «Брэдфорд», где бармен трансвестит. Часто захожу туда выпить. Кстати, в «Водопаде» бармен тоже вроде из этих. Ходит в парике и покрашенный, но одежда мужская. В «Брэдфорде», похоже, никого не волнует, что барышня за стойкой на самом деле мужик, и мне это скорее нравится. Пабы в городе на каждом шагу. Есть совсем маленький, «Футболисты», рядом с тем, который я уже упоминал, – там я ужинаю. Хозяин его днем спит на полу за барной стойкой, так что в шесть, когда им пора снова открываться, приходится его будить. Его пес умеет показывать фокусы с винными пробками.

После «Брэдфорда» я иду в «Кречет», где во время войны американские летчики выжгли на потолке свои фамилии – были расквартированы неподалеку. В «Кречете», на мой вкус, многовато алкоголиков. Кто такие алкоголики? Те, кто готов ради стакана украсть кошелек у лучшего друга, потому что выпивка для них так важна, что и дружбы не жалко. Я этого совсем не одобряю.

Много лет назад в «Кречет» пришли двое ученых и расхвастались, что час назад открыли структуру человеческой сущности – той самой молекулы.[6 - Имеются в

виду Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, в 1953 году открывшие структуру ДНК. (Прим. перев.)] Но сомнительно, что им удалось впечатлить местных бухарей. Вряд ли открытие двойной спирали явилось ответом хоть на один из сотни самых насущных вопросов здешних завсегдатаев, даже если допустить, что первые пятнадцать в этой сотне – «Чья сейчас очередь проставляться?».

В этом – один из минусов науки. Она не всегда выручает. Чем мне поможет знание, что сверхмалые частицы могут оказываться в нескольких местах одновременно, не перемещаясь? Что прояснится, если в качестве единственно правильного способа рассуждения принять постулат, будто кот герра Шредингера и жив и мертв одновременно? Кстати, я не верю, что этот способ рассуждения – единственно правильный. Единственно логичный – да, но ведь это уже совсем про другое? А главное, я не помню, чтобы меня когда-либо особо занимало благополучие пресловутого кота.

«Послушай, тебе это точно понравится», – я с детства боюсь того, что последует дальше. Или того хуже: «Я уже рассказывал тебе про своего котика?», «А ты уже слышал про собачку?». Сразу возникает неприятие. А то еще: «Сейчас я объясню, что бы мне понравилось. А ты расскажешь что-нибудь в тему».

На мой взгляд, Вернер Гейзенберг, Нильс Бор и Альберт Эйнштейн – те же уникально чуткие охотничьи собаки. Они рыскают по дебрям (только не полдня, а лет десять) и наконец, сильно запыхавшись, с гордым видом кладут у твоих ног... полевку. Полевка – по-своему прекрасное, сложное, чудесное существо. Но что с нее... Какой от нее прок? Что от нее изменится?

А когда ты задашь вопрос, который тебя реально волнует, – скажем, что было до Большого взрыва, что лежит за пределами расширяющейся Вселенной, почему в жизнь встроены заведомый абсурд – неизбежность смерти, – то на это услышишь, что на подобный вопрос наука ответить не может, поскольку он изначально некорректен. Ваше дело, знаете ли, спрашивать про полевку. Полевка – как мы условились – и есть ответ; следовательно, все ваши вопросы должны так или иначе соотноситься только с полевкой.

После «Кречета» я иной раз отправляюсь в какую-нибудь деревню, наугад, независимо от ее Малого, Большого, Долгого или Дальнего Местоположения. Включаю приемник, который в гараже мне переделали в магнитола, ставлю кассету на полную громкость и думаю о Джули, младшей моей сестре. Она обожает музыку, не ту, что я, конечно, ей ведь всего двенадцать. Ей нравятся Т.

Rex. She 's faster than most, / And she lives on the coast.[7 - «Она влюбчивей многих и живет на побережье» (англ.) – строки из композиции британской рок-группы T. Rex «Hot Love» 1971 года.] Поехали, Джулс. Когда она была совсем крохой, мы ставили, бывало, пластинку и говорили «танцуй». Ей нравилось. Танцовщица из нее была, конечно, та еще, прыгает с ноги на ногу, из-под короткого подола торчит обтянутый синими шерстяными колготками подгузник; но на лице написано радостное изумление – просто от счастья, что она живет.

Лучше про нее не думать, а то настроение портится.

Не люблю вечерами сидеть у себя. Тянет на волю. В комнате мне нечем заняться. Нечего мне в этой моей конуре делать. В ней висит постер группы Quicksilver Messenger Service и пробковая доска, к которой я приколот картинки, выданные из журналов. В углу бар – на самом деле просто шкаф, изначально, видимо, предназначенный для чего-то другого. В нем я держу несколько бокалов и две бутылки вермута, красный и белый. Ну и джин, когда могу себе его позволить. Пластмассовое ведерко для льда я добыл на бензоколонке, а лед беру в холодильнике на общей кухне, это один пролет по лестнице вверх. Здешней мебели в комнатках уже лет двадцать. Ее успели истереть и расшатать, обсуждая Жан-Поля Сартра и корейскую войну. Насчет того, что она знавала лучшие дни, я бы утверждать не стал: судя по всему мной читанному о тех днях, лучшими они не были; пятидесятые скорее напоминали тундру, которую предстояло одолеть. Но что до мебели, то свой экватор она, безусловно, миновала.

К гостиной примыкает спальня. Сразу за ней – застекленная кабинка душа. Головка насажена на трехдюймовый штырь в стене. Большинству студентов приходится ходить в дальнюю душевую, поскольку их комнаты были построены задолго до того, как люди начали понимать толк в мытье. Собственный душ здесь неслыханная роскошь; наверное, при расселении учли, что я выиграл стипендию.

Однажды я им даже воспользовался. Форсунка в нем крошечная, с десятипенсовую монету. Вода то ледяная, то почти кипятком. Объем воды, попадающей на тело, оказался сопоставимым с разовым выбросом из стеклоомывателя, правда, без «дворников», которые бы размазывали ее по телу равномерно.

В этом весь наш университет. Доны из других учебных заведений выступают по телевизору, проводят семинары, комментируют новости, ведут колонки в газетах, отправляются в командировки по всему миру с лекциями о природе языков, минералов и наскальных рисунков. Они появляются на дне рождения премьер-министра и на премьере в Национальном театре. Их фотографируют то в отеле «Ритц», то в авто на Пикадилли рядом с не обремененной интеллектом актрисой. А самый знаменитый философ из нашего университета последние десять лет жизни провел у себя в комнате, разрабатывая шрифт для собственного надгробия.

Утром я сплю долго, поэтому женщина, которая прибирается в комнатах, «постельничья», как тут ее называют, меня не беспокоит. Я видел ее только раз. Смахивает на переодетого дядьку. И прежде чем лечь, я всегда запираю входную дверь. Что означает, что комната у меня чистотой не блещет. Но это нестрашно: когда я уезжаю куда-нибудь с ночевкой, то оставляю дверь открытой, так что эта женщина может время от времени зайти и поменять белье.

* * *

В детстве меня не оставляло беспокойство. Жили мы в захудалом районе, на тесной улочке, сплошь застроенной одинаковыми домами из красного кирпича. Там вечно висел приторный запах солода – натягивало со стороны пивоварни. Отец работал на бумажной фабрике, у него была астма и шум в сердце, и мы вечно боялись, что он больше не сможет работать. «Пособие по инвалидности», «досрочно на пенсию», «хроническая утрата трудоспособности». Эти слова звучали постоянно, я не знал, что они означают, но четко улавливал одно: в доме не будет денег. Мама работала администратором в гостинице «Уэверли» на Батроуд. Оттуда она спешила домой, чтобы встретить меня из школы. Но лет в одиннадцать мне дали ключи и разрешили пить чай самостоятельно. Меня это очень устраивало – можно сколько угодно смотреть телевизор, никто не пристает с уроками. Еще я читал книжки из библиотеки, в которую заходил по дороге из школы. Книжки выдавали бесплатно, что, помню, приятно изумило.

Я знал, что мы бедные, но знал и то, что есть семьи еще беднее. Например, Каллаханы. Они жили двенадцатером в доме еще меньше нашего, через две улицы от нас. Там пахло затхлой сыростью, а туалет был во дворе, на две дырки, – мне пришлось туда зайти, когда мама однажды оставила меня с миссис

Каллахан. Рядом проходила железная дорога. На веревках посреди закопченного двора развешалось белье. Как оно могло остаться чистым?

Простыни и наволочки развешивала по веревкам хорошенькая молодая женщина, и я беспокоился, неужели она тут и состарится, и никто не узнает, какая это была красавица. А может, так и умрет, не пожив нормально.

Еще я переживал за Западную Германию: я видел в кинохронике, что сделали наши самолеты с немецкими городами, и не был уверен, что люди смогут после этого оправиться. Когда туда вошли наши и американцы, наверное, для жителей это было очень унижительно, немцы ведь не дикари с каких-нибудь далеких островов, которые ничего лучшего в жизни не видели. Это как все время быть под стражей. Как если бы тебя взрослого принуждали ходить в коротких штанишках. Я ставил себя на место своих ровесников, Ганса или Фрица, скажем, в Дюссельдорфе или в Ганновере. Не думаю, что это приятно, когда твою свободу ограничивают в наказание за то, что натворили твои родители.

Каждый вечер я дожидался шагов отца на дорожке и поворота ключа в замочной скважине. И мчался с кухни в прихожую – посмотреть при свете лампы в шестьдесят ватт, как он выглядит. Глаз у меня был наметанный. Подбежав к отцу, чтобы поздороваться, я уже видел по движениям грудной клетки под рабочей блузой, прихватило его или дышит терпимо.

Беспокоило меня и то, что люди заводят слишком много детей. И сейчас уже на Земле полно голодающих, для новых людей нужно строить и строить дома, в Англии скоро не останется сельских полей. Где же мы тогда будем выращивать еду?

С другой стороны, если начнется очередная мировая война, между нами и русскими, надобность в еде отпадет. Война ведь будет ядерной. Мой дед воевал в Первой мировой, папа во Второй, выходит, на Третью мировую пошлют меня.

Около железнодорожного моста находилось огромное казенное здание. Не знаю, что это было, но оно произвело на меня сильнейшее впечатление. Больница, приют, фабрика? Какая, собственно, разница. Зимой, когда включено было освещение, за окнами без штор можно было разглядеть двигавшиеся фигуры. Именно этот свет почему-то вызывал чувство тревоги. Светильники не могли быть газовыми, но выглядели именно так. Возможно, в старые газовые рожки

вставили маломощные электрические лампочки. А что, действительно могли. Во всяком случае, из-за необычного освещения эта громадина выглядела как нечто старинное, из прошлого века. И люди, которых удавалось разглядеть сквозь стекла, тоже были старыми. Возможно, и они были из прошлого века. Родиться в нем они могли точно.

Кажется, однажды в окне я видел медсестру в крахмальном чепце. Поскольку заглянуть в окна удавалось только зимними сумерками, мне чудилось, что у них там всегда пять пополудни. Не в смысле чая с кексами. В пять начинался бесконечный казенный вечер. Почему-то казалось, что обитатели этого здания неподвластны времени, что они неким образом навечно остановились на пяти часах.

Я словно бы знал, как там у них внутри. Такое бывает. То ли приснилось, то ли подсказывала интуиция, то ли я сам каким-то образом там побывал, не знаю. Но мне все там было знакомо до мелочей, и в этих стариках я узнавал себя.

Атмосфера заведения была стандартной, во всяком случае, для всей тогдашней Англии. Квинтэссенция казенщины. Серый газовый свет. Как металлический холод инъекции, наполняющий вену. Ничего цветного, теплого, домашнего; ни сестры, ни дочери, ни музыки, ни улыбок, ни музыки; только газовый свет под сводами. Сводчатый коридор, кафельные стены, каменный пол – навсегда.

Я боялся там оказаться. И очень переживал об этих. Хотелось о них позаботиться, завернуть трубочный табак в ярко-алую бумагу и сунуть им в руки, вывести их на свет.

Почему-то я ощущал это как свой долг.

* * *

С Дженнифер все продвигается неплохо. Пересекаемся с ней на «кружках», вслед за ней я стал ходить на лекции по истории. Она занимается интересными вещами, и я не удивлюсь, если она блеснет на предстоящем летнем экзамене. «Объединение Германии» – это ее козырь. Про вишистскую Францию ей вряд ли удалось раскопать особенно много, но тут ведь и информации мало, если не сидеть в архивах. Однако в германских без продвинутого немецкого делать

нечего (а он у Джен на уровне средней школы), а французы свои закрыли. (Знаю точно, потому что сам писал на эту тему реферат к экзамену по истории.) Старый материал она шпарит как по учебнику – хоть про Тюдоров на британском троне, хоть про революцию лягушатников, – а вот насчет Африки ее, похоже, марксисты запутали. В смысле понимания, что там творится на самом деле, – потому что на экзаменах марксистская интерпретация – самое то. Наши доны-историки почти все марксисты. Там тоже четкое деление: одни «чистые» марксисты-ленинцы, или коммунисты (то есть сталинисты, поддержавшие вторжение в Венгрию и Чехословакию, поскольку хоть тамошние народы и не жаждали подчиняться коммунистическим догмам, но коммунистам виднее, что для народов благо), другие троцкисты, а есть еще меньшевики, грамшисты, евросоциалисты, лукачисты и поборники еще более изощренных изводов марксизма. Взгляды их, разумеется, меняются, и сами они сосредоточенно следят за этими тонкими подвижками, как психоаналитик за своими оговорками и снами. Примерно раз в год по университету начинают бродить слухи: доктор Н. вот-вот объявит о смене вех. Наступает всеобщий переполох. И вот после нескольких месяцев бессонных ночей и бесконечных метаний, после очередного прочтения канонических текстов, доктор Р. утряс свою концепцию и готов сообщить, что теперь он убежденный... маоист. Его студенты дружно кивают. Мао. Еще бы! Некоторые студентки мечтают переспать с доктором Р. и убедиться в его пламенности из первых, что называется, рук. Днем наши историки вещают о диктатуре пролетариата, а вечером изучают списки вакансий в приложениях к академическим журналам на предмет условий попрличнее.

Хотя из того, что мне известно про Великого Кормчего, человек он малосимпатичный. Но имеет ли это значение?

Кстати, никого, похоже, не волнует, что я, естественник, хожу на лекции к Дженнифер.

Я не упомянул, что после первого курса решил бросить английскую филологию. Сообщил заву учебной частью, тот оперативно переговорил со своим коллегой на факультете естественных наук. Этот последний пригласил меня в свои апартаменты в Нью-Корте («Новом Дворе» – на самом деле самом старом из наших зданий; «новым» оно было разве что по сравнению с руинами аббатства, в котором семь пуританских богословов и учредили наш колледж в далеком 1662 году).

Дон-естественник по фамилии Уэйнфлит предложил мне досдать несколько предметов (по его выбору), разрешив подготовиться во время летних каникул. Оказалось, ничего сложного – основы цитологии, физиология (с элементами неврологии) и общая биология, из которой я многое помнил еще со школы, – так что Уэйнфлиту ничего не оставалось, как меня принять.

На втором курсе в первую сессию я сдам физиологию растений и животных плюс биохимию, а ко второй подумываю насчет генетики. Притом что тема эволюции присутствует и в физиологии, но хочется уже перейти к человеку как таковому, после копания в молекулах – к целостной картине, так что предвкушаю лекции по археологии и антропологии в исполнении бородатого профессора из Мельбурна по прозвищу Австралопитек.

По английской филологии я не скучаю совершенно. Там никто мне так и не объяснил, что я должен делать. Сами решайте, чем заниматься. Все это с подчеркнутым уважением, «мистер» или «мисс», на «вы», как к ровне; видимо, что-то подсказать студенту там почиталось бестактностью. Впрочем, подозреваю, этот либерализм высвобождал дополнительное время для собственной работы. Например, мистер Вудроу, тот самый, рослый и похожий на учителя, пишет монографию о немецких гравюрах, от Дюрера до наших дней (а английскую филологию вообще не преподает), а другой, помоложе, доктор Джеральд Стенли, сочиняет роман в духе Фербенка, действие происходит вроде бы на корнуолльском оловянном руднике. (Жду не дождусь.)

Однажды я таки спросил у Стенли, какова цель наших занятий:

– Мы что, должны предложить новое прочтение этих произведений?

Он явно пришел в ужас.

– Понимаете, – продолжал я, – вряд ли удастся найти у Бена Джонсона в «Варфоломеевской ярмарке» или в трактате «Погребение в урнах» Томаса Брауна что-то, чего еще никто не заметил.

– Согласен, мистер Энглби. Это маловероятно.

– Тогда, может быть, стоит как-то связать текст со временем жизни и биографией автора? Как эпоха повлияла на литературу?

– Боже мой, только не это. Не занимайтесь публицистикой.

– В таком случае – в чем наша задача?

– Изучать текст и читать то, что о нем написано.

– А чего ради?

– Ради образования.

Я почувствовал себя: а) обманутым и б) разочарованным. Похоже, против меня в очередной раз применили старый добрый силлогизм.

Вообще-то я уже понял, как надо действовать. Это называется «аналитический разбор». Тебе дают поэтический или прозаический отрывок, а ты, опираясь только на имеющийся текст, должен определить, когда он был написан и кем; а после этого обосновать свои выводы и дать филологический комментарий. Это было нетрудно, но интересно; к тому же осмысленно – ты можешь продемонстрировать свою эрудицию, а также тонкий слух на поэтическую ритмику разных эпох. Но беда, если уцепишься за какую-нибудь автобиографическую проговорку в тексте: это тоже считается «публицистикой». И если в духовном сонете, написанном в стилистике середины семнадцатого века, автор говорит о настигшей его слепоте,[8 - Имеется в виду сонет Джона Мильтона «О моей слепоте». (Прим. перев.)] а в стихах начала девятнадцатого представитель высокого романтизма упоминает пароксизм кашля, разумеется, надо притвориться, что текст ты атрибутировал, руководствуясь исключительно его лексикой. На экзаменах после первого курса я даже оказался лучшим, но это было как выиграть в какой-то домашней викторине. Образование мне представлялась чем-то посерьезнее.

Свое мнение я высказал Стеллингсу, после этого он и начал называть меня «Граучо».[9 - Прозвище одного из братьев Маркс, комика Джулиуса Генри Маркса (1890–1977) – Граучо – происходит от английского слова grouch – ворчун, брюзга.] Ничего, моя школьная кличка была куда хуже.

Еще один предмет, введенный совсем недавно, тоже мало обнадеживал. Назывался он «теория». Основной ее принцип – не важно, что перед тобой,

роман «Джейн Эйр» или инструкция по установке холодильника. Исследованию подлежат сами приемы исследования; важна не «ценность» (которая порой не поддается оценке) произведения, а эффективность этой самой теории. И «Ярмарка тщеславия», и дешевые романчики про летчика Бигглза – лишь подопытные кролики, а исследуемая вакцина – очередной «-изм». Некоторые теории, и с «-измами» и без, возникли аж на стыке лингвистики и нейрофизиологии. Наши доны с филологического, которых давно допек снобизм естественников, теперь отомщены: отныне словесность тоже занимается реальными вещами, когда истинность выводов можно проверить лабораторно.

В лингвистическом отношении этот подход на корню подрезает тот факт, что люди, занимающиеся фундаментальными проблемами языка, похоже, совершенно не умеют писать.

Входят в моду и теории, опирающиеся на марксизм либо психоанализ, или еще на какие-нибудь доктрины из тех, что не пришились ко двору в своей науке и теперь отрываются на беззащитном литературоведении. Вроде военного, уволенного в запас, – в полку не сложилось, так подался в учителя и теперь строит учеников в какой-нибудь захудалой частной школе.

Ну а для Джеральда Стенли и остальных это было как возвращение к «Джейн Эйр».

Теперь вы понимаете, почему я предпочел изучать нейрофизиологию, особенно нейрогенетику и нейропатологию.

Но вот что куда важнее моих учебных дел: со мной неожиданно произошло нечто замечательное.

Глава вторая

Сразу объясню: сейчас октябрь, начало занятий на последнем моем курсе. Неожиданно пришлось отложить записи и готовиться к экзаменам. Они оказались труднее, чем я рассчитывал, но дело не в этом.

Хотя как раз в этом.

Во время летних каникул я месяц подрабатывал на старой бумажной фабрике. Работа была нудная (толкать тележку на резиновых колесах по всему цеху), но не тяжелая. Соответствующий профсоюз когда-то, не добившись повышения зарплаты, выбил из начальства десятиминутный перерыв после каждого часа работы, это не считая обеда плюс официальные пятнадцатиминутные чайные перерывы и пятиминутный гигиенический каждые два часа. При желании ты мог все эти минуты суммировать и уйти на час раньше. Я был не в штате и в профсоюзе не состоял, однако пользовался отвоєванными правами и каждую пятницу забирал мятый серый конверт с получкой.

* * *

Дженнифер собралась в Ирландию на киносьемки с группой из Тринити-колледжа. Режиссера звали Стюарт Форрес, а всего набралось человек тридцать – актеры, съемочная группа плюс свита – чьи-то подружки, чьи-то дружки. Разместиться предполагали в старом загородном доме неподалеку от Типперэри.

В доме места на всех не хватило, кто-то поставил палатки, кто-то снял жилье в деревне. Я нашел комнату над лавкой мясника. Хозяина тоже звали Майклом, Майклом Клохесси, и мы шутили на эту тему. Жена называла меня «Майкл маленький» и угощала на завтрак «черным» кровавым пудингом, беконом и колбасой с домашним хлебом. Платил я пять фунтов в неделю, а после завтрака миссис Клохесси есть не хотелось до самого вечера, до ужина на лужайке после съемочного дня.

– Дождя-то для вашего кина небось не надо? – каждый день спрашивала меня миссис. – Ну небось и нынче свезет.

Нам и правда везло. Ведь «Тип» (так местные зовут свой Типперэри) слывет одной из самых дождливых точек Европы, так что, казалось бы, жители тут должны перемещаться исключительно на гондолах. Но на нас не упало ни капли.

Солнце светило день за днем. Лужайка перед старым домом побурела и полысела. Владельцы дома разводили породистых лошадей, но ни их участие в

скачках, ни продажа особых денег не приносили, так что хозяева охотно пускали постояльцев. И радовались, что дом полон, но через неделю запросили выходной, так что ужин нам предстояло готовить самим.

Утром я на попутке сгонял в Тип, где нашел винный магазин. Я заметил, что наши запасы тают, и купил дюжину бутылок сидра, несколько жестяных кегов пива по семь пинт и шесть широкогорлых графинов вина, закупоренных металлическими крышками. Жилье у Клохесси обходилось так дешево, что у меня еще оставалась полно денег, заработанных на бумажной фабрике. В супермаркете я взял по акции большой поднос разделанной курятины и все, что надо для соуса «барбекю». Я с детства научился готовить: дожидаться родителей с работы никаких сил не было. Да и сестру приходилось кормить, а Джули была привередой.

Как это все доставить туда, где ходят попутки, я слабо себе представлял, но продавец выручил, одолжил тележку. Все были на съемках в лесу в дальней части поместья, в доме оставалась только Джуд, малышка с прямыми каштановыми волосами, забранными широкой вязаной лентой вроде снуда. На съемках она в тот день была не нужна, и Стюарт поручил ей приготовить ужин на всех. Девушка обиделась, сказала, что мужчину он никогда не заставил бы готовить. Я угостил ее косячком с начинкой от Глинна Пауэrsa и сказал, что ужин могу взять на себя.

В пять я вытащил на гравийную площадку у кухни длинный стол, расставил выпивку и бумажные стаканчики, которые купил в деревне. Замариновал куски курицы в тазике (нашел его в хозяйской кухне). Над кострищем соорудил из старых кирпичей и каменных обломков мангал, чтобы была хорошая тяга, накрыл проволочной сеткой. Натаскал несколько охапок сушняка. К семи часам у меня имелись тлеющие рыже-серые угольки, а в восемь уже была готова нежнейшая после маринада курятина с поджаристой корочкой, а к ней острый соус, печеная картошка и салат, на тридцать человек.

Я стал рассказывать, что это Джуд постаралась, но это никого не волновало; ни у кого не возникло даже вопроса, кто это все купил или доставил. Только один малый, Энди, сказал: «Отличный соус, старик». Возможно, подумал, что я из кейтеринговой фирмы.

Я заметил, что Дженнифер тоже понравилось. Я ведь и о десерте подумал, купил в деревне яблочных пирогов и сыра. Она рассмеялась, когда кусок яблока

выдавился из пирога ей на колени.

Оказалось, она играет одну из главных ролей. Прежде чем приступить к съемке, Стюарт Форрес сказал речь. У него была жидкая каштановая борода и волосы на прямой пробор, как у Христа. Он сказал: «Вы все читали сценарий, доработанный мной и Дэйвом. Сначала мы жестко прописали сюжет, получился, если угодно, кислотный вариант «Двенадцатой ночи», но потом подумали от него отойти. Нужно больше импровизации в диалоге, поэтому сначала проработаем некоторые сцены, со мной или с Дэйвом. О работе все. Теперь зажжем ароматические тибетские свечи и сядем в кружок. Обряд на удачу, это дело серьезное».

Это правда было здорово, свечи, и все в одном кругу. И отсветы пламени на лицах – Кэти и Дэйва и Амита из Кингз-колледжа, Ханны и Холли из Ньюхэма, Стива, дружка Ханны, самого Стюарта и, разумеется, Дженнифер с ним рядом, и остальных, и осветителей, и звуковиков, и курьеров, и всех прочих. Сценария я не читал, но все как-то размякли и, казалось, были счастливы ему следовать, куда бы он их ни привел. Вечер выдался теплый, кто-то прихватил с собой гитару. Было в этом всем нечто евангельское, Иисус и его апостолы. Я ощутил то редкостное чувство, с каким смотрел когда-то на шестилетнюю Джули и ее школьную подружку – просто сидел в другом конце комнаты и смотрел, как они играют.

Наши ирландские вечера всегда проходили неплохо, но тот, с моим ужином, был самым лучшим. Когда я убрал тарелки и прочее, некоторые стали разбредаться по своим палаткам и комнатам, но большинство, человек двадцать, остались у костра.

Гитара у Стива была акустическая, со стальными струнами. Усевшись по-турецки, он стал тихонько на ней бренчать, изредка прерываясь, чтобы затянуться косячком. Потом бренчание сменилось струнным перебором. Он играл ненавязчиво, хочешь – слушай, хочешь – продолжай трепаться. Но очень скоро разговоры стихли; сбившись плотнее, все смотрели на Стива. Застыли с сигаретами и бумажными стаканчиками в руках и ждали.

Перебирая лады, Стив стал выводить знакомую мелодию. Girl from the Nothern Country[10 - «Девушка из северной страны» (англ.).] Боба Дилана. Чем-то похоже на старинную балладу «Ярмарка в Скарборо», только нежнее. Герою хочется, чтобы с девушкой, которую он когда-то любил, все было хорошо. Он

беспокоится, не мерзнет ли она. «Пожалуйста, взгляни – теплое ли пальто на ней,/ защити ее от воющего ветра». (Это когда он уже сказал про снег и лед, про ветер, сбивающий с ног у самой границы.) Я все думал, что за граница имеется в виду? Между Канадой и Штатами? В районе Великих озер? Да какая разница. Мало ли на свете северных краев. Герой не думает ни о своих утратах, ни о чувствах – только о той, которую он любил. Чтобы волосы у нее оставались такими же длинными и чтобы было тепло. Сам не понимаю, почему от этого так грустно.

Час за часом мы потягивали сидр и вино, курили и слушали Стива. Потом немного поиграла Холли, но у Стива получалось гораздо лучше, и она вернула ему гитару. Напоследок он запел Fire and Rain.[11 - «Огонь и дождь» (англ.) – название фолк-композиции Джеймса Тейлора (1970).] Я заметил, как Дженнифер встала и потянулась в темноте, потом подошла сзади и, положив руку мне на плечо, прошептала: «Спасибо за ужин».

Я прошел через кухню Клохесси и тихонечко поднялся к себе и распахнул окно, надеясь, что ветер донесет хотя бы слабые звуки музыки. Но ночь была совершенно тихой.

* * *

За камеру отвечал парень по имени Ник, его называли Гопом – Главным оператором. Чуть что, Стюарт говорил: «С этим к Гопу». Думаю, дело было в камере Ника – здоровенной, со штативом. Хотя иногда Стюарт брал ее под мышку и расхаживал с ней сам – для эффекта «Новой волны» (вызывающего у зрителя морскую болезнь). Ник при этом восторга не выказывал и испытывал явное облегчение, когда камеру возвращали на штатив.

Другую главную женскую роль играла Ханна, которая до этого участвовала во многих спектаклях, кажется, даже в «Гедде Габлер». Девушка с апломбом, попробуй ей сделай замечание. Чуть что – «все, сил моих больше нет», и требовала объявить перекур. Стюарт боялся ей лишнее слово сказать – Стив, ее парень, был начеку.

На съемочной площадке любому найдется дело, конечно, если ты человек рукастый и покладистый. К примеру, можно подменить звукорежиссера, когда тот отлучится покурить. Надеваешь наушники и говоришь: «Всем оставаться на

местах, доснимаем этот план». Не так уж и трудно.

К тому же я умею управляться с ножовкой и стамеской, если надо, могу что-нибудь смастерить или покрасить, – притом что реквизит Стюарту почти не требовался, действие разворачивалось на лоне природы, точнее, в лесу, за исключением небольших эпизодов в «замке» (в роли которого выступал сам дом). На худой конец, всегда можно принести кому-то чашку чаю.

Через несколько дней после того барбекю у меня стала кончаться наркота, и я сбегал к себе, чтобы взять еще из заначки в несессере. Этого дела у меня было полно – привез с собой на пароме из Фишгарда. Глинн Пауэрс сказал мне в конце семестра: «Майк, ты мой главный клиент. Поработаешь на меня? Одному мне столько не пристроить». И открывает шкафчик, а там шарики гашиша размером с теннисный мяч. Шесть штук. Я взял два, договорились, кому сколько причитается.

Вернувшись в сад, я разделил гашиш на порции по пять фунтов за штуку, но продавал за фунт, сказал, остальные четыре можно потом.

– Даешь, старик, – удивился Энди, – Майк Шеф-повар стал Майком Барыгой.

Утром Стюарт всех собрал и сообщил с полнейшей серьезностью:

– Сегодня у нас будет закрытая съемка. На свете Джеф, на звуке Том, Доп, я и трое актеров – Алекс, Дженнифер и Ханна. Больше никого. Всем понятно?

– Что значит закрытая? – спросил Стив у Ханны.

– Значит, Дженни разденется.

– Том не вернулся из Типа, – уведомил Дэйв. – Ты знаешь, что они с Бобом вчера вечером туда уехали? Он звонил, сказал, что у него мигрень. С ним бывает.

Нужно было хоть кого-нибудь поставить на звук, чтобы не выбиться из графика, к тому же всякий день могло ливануть. Я предложил Стюарту свои услуги.

– С аппаратурой умеешь обращаться – с наушниками и всем таким?

Я ответил, что мне не впервой. Действительно, я как-то утром подменял Тома. У него душа вообще к звуку не лежала – он мечтал сам сниматься.

Стюарт кивнул.

– Все готовы? – спросил он, глядя на Дженнифер, Алекса и Ханну. У Алекса вид был затравленный. Дженнифер едва сдерживала слезы.

Предстояла, разумеется, сцена изнасилования, но поскольку снимать ее Стюарт собирался в феминистском ключе, то главной задачей было передать ярость героини.

Большую часть материалов предполагалось доснять в Дублине, а нам предстояло переснять кусок, где персонаж Алекса валит Дженнифер на землю и задирает ей подол. Проблема была с нижним бельем. Алекс должен был стянуть с партнерши трусы, не порвав их, потому что запасных было мало. К тому же он слишком с ними возился, отчего сцена выглядела нарочитой.

Дженнифер это все явно напрягало, но, когда Стюарт предложил сделать перерыв, она отказалась, демонстрируя силу воли.

Ханна предложила ей вообще не надевать трусы, потому как процесс их стягивания больше напоминает «мужские фантазии». Так и решили.

Потом отказала осветительная установка. Стюарт решил снимать при естественном свете. Ханна сказала, давно бы так, будет больше жизни.

В то утро все вообще пошло наперекосяк. Ханна вдруг передумала: трусы на Дженнифер пусть остаются или Алекс тоже должен снять штаны, нечего спекулировать женской наготой, но показать в кадре голого Алекса было невозможно – он постоянно был возбужден, а это, по словам Ханны, будет выглядеть спекулятивно и никому не понравится. Алекс стал возражать: как же он будет насиловать без возбуждения, ведь теоретически насильник должен получить удовольствие от своих действий, в том все и дело: у него крыша едет.

В ответ Ханна попросила избавить ее от этой фигни в духе Станиславского, но Стюарт убедил ее, что Алекс вообще-то прав; однако после всех унижительных

реплик Ханны Алекс возбуждаться перестал. Поняв, что снимать Алекса голым потеряло смысл, так как слишком очевидно, что насиловать он уже не в состоянии, мы вернулись к варианту, что голой под платьем останется только Дженнифер, а он задерет ей подол. Стюарт сказал, что по большому счету не важно, возбужден Алекс или нет, отснятый материал еще будет монтироваться и редактироваться.

И тут вдруг Дженнифер заплакала, потому что... нет, я не знаю, почему она заплакала.

Может, оттого, что Алекс больше ее не хотел. Пусть даже не ее, а ее персонажа, пусть не сам Алекс, а его персонаж. Пусть он играет насильника, а она женщину, которая вовсе не хочет, чтобы ее так хотели.

Она в самом деле здорово расстроилась, не могла успокоиться минут двадцать. Ханна заявила Алексу, что он свинья, и еще кое-что. Осветителю Джефу было приказано покинуть площадку вместе с осветительными приборами. Только один человек сохранял невозмутимое спокойствие – Ник, наш Гоп, в лиловых брюках из мягкого бархата.

Не помню, как с этим разобрались. Зато осталась в памяти трогательная сцена, когда героиня Ханна сбегает с крыльца главного дома, чтобы обнять и утешить героиню Дженнифер. Ханна сказала, что для этого кадра она сама готова раздеться, но Стюарт жертвы не принял.

После чего между Ханной и Стюартом разыгралась очередная склока на тему, кто тут главный, в ходе которой стало ясно, что Ханна лучше знает, как играть, однако фильм Стюарта, а камера – Ника.

Лично для меня это было увлекательное утро, но, боясь показаться вуайеристом и памятуя, что лишь исполняю обязанности Тома, я так и не решился отвести глаза от лица Дженнифер.

Всего съемки продлились три недели. Ближе к финалу вечерние посиделки стали сворачиваться. К ночи начинался дождь. Все заметно устали. Я слышал, как Дженнифер вслух мечтает о горячей ванне, хотя в главном доме, где она жила, наверняка имелась горячая вода. Возможно, в тот момент она думала о родительском доме в Лимингтоне. Или о какой-то вполне конкретной ванной.

Дела у Стюарта шли отлично. Фильмом уже заинтересовался «независимый прокатчик» и совет студенческого киносоюза, спонсоры нашей экспедиции.

За неделю до окончания съемок Стив обнаружил, что Ханна переметнулась к Гопу Нику. И пришел в ярость. Ханна сказала ему, что он незрелая личность. Стив извинялся за свои угрозы, но обвинял Ханну в непорядочности. Она обозвала его собственником и сказала, что с нее хватит. Тогда Стив забрал свою гитару и скрылся, как тать в ночи, – и получился главным виноватым, потому что выдержки не хватило.

Мне не хватало музыки. Ник ходил довольный, но изумленный: новый обладатель сокровища, он и не чаял, что на него свалится такое богатство. И старался как мог не выглядеть собственником, но Ханна то совала ему в рот свою сигарету, то благоговейно ловила каждое слово Ника, когда он и Стюарт обсуждали композицию кадра. В сентябре такие обсуждения случались все чаще. Ветра на исходе лета провоцируют тревогу.

Накануне отъезда мы устроили вечеринку, Стюарт обещал, что всех нас пригласят в просмотровый зал киношколы на прогон чернового материала. Вечеринка удалась. Настроение у всех снова стало отличное, все разногласия забылись. Я напек шоколадных кексов примерно с унцией гашиша. Привез из Типа много сидра. Чувствовалось, что хозяевам большого дома жаль с нами расставаться. На прощание они запекли полную кастрюлю мяса (купили у моих Клохесси) и сделали рис с изюмом, яблоками и сладким перцем – для вегетарианцев.

Я запил сидром припасенную таблетку мандракса. Стюарт повторил обряд с тибетскими свечами, когда все держатся за руки. На этот раз меня тоже позвали в круг, я оказался за два человека от Дженнифер и видел, как мерцают отсветы пламени на ее щеке.

* * *

Вот это и было тем замечательным, что со мной произошло. Я подумал, что теперь оно навсегда, это ощущение общности, что оно не иссякнет и в октябре, когда начнется очередной семестр.

Теперь идет уже третья неделя, и хотя экзамены только следующим летом, но народ уже плотно засел за учебу. Я несколько раз заходил в Киношколу, но из ирландской компании застал мало кого: только Ника (без Ханны, она была на репетиции «Дяди Вани» в университетском театре), Амита и Холли. Стюарт с Дэйвом занимались монтажом. Похоже, кадры получились многообещающие.

А на улице уже похолодало, на тротуары налипли мокрые листья. И долг теперь путь до Типперэри.

Меня переселили в Клок-Корт. Теперь у меня в комнате есть мини-кухня – газовая горелка и шкафчик с посудой, – так что в столовую можно не ходить. Душа нет, зато имеется ванная, одна на шесть комнат, но кроме меня ею мало кто пользуется. Так что я протираю ванную тряпочкой с порошком «Вим» («постельничья» постоянно подсыпает в поддон свежего), ополаскиваю, набираю горячей воды, включаю транзистор и слушаю сериал про Арчеров. В основном там все крутится вокруг Норы, барменши из Северной Ирландии, но мне нравится старый Уолтер (фамилию не помню). Напоминает того старика из приюта на моей улице. Так же разговаривает: «Хе-хе, матушка моя, дорогуша моя». Или как-то наподобие. Я не особенно вслушивался.

Мой режим немного поменялся. Скажем, я почти завязал с наркотой. Отчасти потому, что куда-то пропал мой поставщик. Таблетки я раньше покупал в «Кречете», у некоего Алана Грининга. Ходил он с солидным металлическим дипломатом, в котором хранились не секретные схемы чернобыльского реактора, как можно было подумать, а всего лишь пузырьки с таблетками. Грининг промышляет в разных больницах, и еще ходит к трем разным терапевтам. У него есть лекарственный справочник; найдя нужный препарат, Грининг идет к врачу и жалуется на соответствующие симптомы. В аптеки он ходит разные, и ни один аптекарь не в курсе, что другие тоже в деле. Ассортимент был богатый: трициклические антидепрессанты, ингибиторы моноаминоксидазы, бензодиазепины и все такое прочее погромыхивало в металлическом чемоданчике и почти никак не действовало на организм. Один из ингибиторов МАО, нардил, нужно неделями пить, чтобы хоть что-то почувствовать. Зато если заесть его сыром, мармайтом или бобами, можно получить инсульт. То-то радость! А вот туинал, нембутал, амитал мне нравятся. Кваалюды хорошо идут с джином. В общем, есть всякие варианты. Снотворных я перепробовал великое множество, даже запрещенные, но сна от них ни в одном глазу. А вот таблетки от аллергии, которые можно купить без рецепта, валят с ног.

Единственное, чего я пробовать не стал, – это амфетамины и ЛСД. Это дело синтезировали двадцать пять лет назад, чтобы вызвать симптомы сумасшествия у морских свинок. Чего ради употреблять вещества, нарочно созданные, чтобы вызывать безумие? Стоит заглянуть разок в учебник по нейрофизиологии, и вы к ним близко не подойдете.

Но дело в том, что вся эта химия мне стала не нужна. (Помимо выпивки и травки, но это ведь не считается, да и они мне на самом деле уже не нужны, просто привычка – как кино или сигареты.)

Наркотики мне не нужны, потому что я научился ладить с реальностью. Она перестала меня пугать. Бедный старина Элиот считал, что люди не в состоянии вынести ее в больших дозах. А я вынесу столько, сколько вы ее на меня захотите вывалить. Как Д. Г. Лоренс. Надо было так и сказать доктору Джеральду Стенли на собеседовании. (Когда мы с ним пересекаемся во дворе, он смотрит на меня с грустью, хотя я здороваюсь с ним вполне сердечно. «Доктор Стенли, как я понимаю? Ну как там Джейн Эйр? Еще не развелась?»)

Литературу я не то чтобы вовсе забросил. Теперь я сам пишу стихи у себя в Клок-Корте. На выручку от двух «теннисных мячиков» я купил проигрыватель и несколько пластинок, – в основном Малера, а еще немного Брукнера, Сибелиуса и Бетховена. Пятую симфонию Малера я впервые услышал в фильме «Смерть в Венеции», который вышел, когда я учился на первом курсе.[12 - То есть в 1971 году. (Прим. перев.)] Фильм хороший, но зря фон Ашенбаха сделали из писателя музыкантом. Чтобы показать холодную интеллектуальность писателя (тем отчаянней выглядела бы его внезапная любовь к мальчишке), достаточно, чтобы управляющий взял в руки пару его книжек и поморщился, прочтя названия. А ради изображения композиторской сухости пришлось давать ретроспективу, как он у себя в Германии довольно беспомощно спорит с коллегой о жизни и искусстве, – сцена, словно позаимствованная Висконти у Кена Рассела, если не хуже. Почему режиссеры внушают себе, что у автора все написано неправильно, и осложняют себе жизнь?

Слушая Малера, я пишу стихи – карандашом, чтобы проще было править. Свой цикл сонетов я распечатал и отдал на университетский конкурс поэзии. Если вы помните Пятую симфонию, особенно адажиетто, звучащее в первых кадрах фильма, вы поймете чувство, которое я стремился передать. Облечь его в слова не так просто – у каждого из них есть дополнительные, замутняющие значения. Слово – средство слишком грубое, в силу своих ненужных, но неизбежных

коннотаций. Но даже если найдутся слова, способные привести туда же, куда ведет Малер своим адажиетто, боюсь, вам там совсем не понравится. Именно неясность, недоговоренность, свойственная музыке, и удерживает вас на волоске от безумия.

* * *

Вы когда-нибудь были одиноки?

Вот и я тоже нет.

Обособленность – да. Уединение – конечно. Но одиноко – это когда тебя тяготит, что ты один. А меня это всегда устраивало.

Ну так и быть, признаю, до знакомства с Дженнифер – не всегда. Иногда случалось, что собственное общество переставало меня забавлять. В повседневной жизни такого не бывает, поскольку повседневную жизнь ты устраиваешь себе сам, по собственному вкусу – так, чтобы она тебя поддерживала. Поэтому она и не приедается. Еще один вечер в обществе Майка? Отлично. Майк мне нравится, старый добрый Майк. А еще есть Густав и стихи, а если совсем прижмет – можно накинуть куртку и заскочить выпить «Брэдфорда», где бармен-трансвестит.

В мои первые летние каникулы, после нескольких недель подработки на бумажной фабрике я сел на паром до Гавра. Дальше я собирался проехать автостопом по каким-нибудь интересным местам, а по пути читать книжки. Я прихватил с собой несколько толстых томов в бумажных обложках, чтобы выдирать прочитанные страницы: «Крылья голубки» Генри Джеймса, «Волшебную гору» Томаса Манна, «Памелу» Ричардсона и «Анну Каренину» Толстого. «Памелу» я читал в кемпинге под Туром и радовался, что теперь занимаюсь серьезной наукой. По-моему, слава этого романа объясняется вовсе не его качеством, а только тем, что романов в восемнадцатом веке еще не писали. Потомки ценят Ричардсона не за то, что он был лучшим, а за то, что был первым. Сегодня уже никто не захочет летать на самолетах братьев Райт.

В городках Северной Франции было нечто, усугублявшее одиночество. Я наблюдал за сморщенными, как изюм, вдовами, за молодыми мамашами с

детьми. За краснолицыми стариками в кафе – молодых мужчин там не было, все работали. Думаю, Курбе и Милле видели примерно то же: крестьянина посреди ландшафта, серые городки со ставнями, церкви. С виду незыблемый, отлаженный механизм буден, так пугавший поколения романистов (тот самый «детский ужас перед лавочником», упомянутый Генри Джеймсом), – а на самом деле пугающе хрупкий.

Кремень у *homo erectus*, пустая церковь у *homo sapiens* как видоразличительные признаки.

И повсюду одинаковые *boucheries*, [13 - Мясные лавки (фр.)] с их вечным запахом крови и очередями, с неизбывным катехизисом приветствий и прощаний, сопровождающим каждую покупку. Мощенные булыжником площади и *tricolores*, [14 - Здесь: трехцветные флаги (фр.)] свисающие с крыш *hôtels de ville*. [15 - Мэрии (фр.)] Мигающая красная лампочка в окне таверны, где готовят блюда местной кухни. Звяканье супниц с *potage de jour* [16 - Суп дня (фр.)] и неременная бутылочка сент-эмильона.

А главное – церкви. Их пустота. Побывал Бог на земле – и ушел. Вот от этого правда иногда делалось одиноко.

Худшее, что может случиться в путешествии, – когда твое сознание слишком уж старается, чтобы ты почувствовал себя как дома. Помню, со мной это случилось на автобусной остановке в турецком Измире. (Кстати, между Туром и Измиром ничего особенного не произошло. В Италии и Греции было прекрасно.)

Была ночь, и я ждал автобуса. На изгаженном гудроне, под стеклянным навесом, в свете натриевых фонарей. Играла местная, с завыванием, музыка, потом громкость прибавили, и к пронзительному вибрато исполнителя добавилось жестяное дребезжание дешевых динамиков. На любого начинающего путешественника, ожидающего ночного автобуса до Стамбула, там приходится два-три навязчивых мужика, усатых, с четками, с сигаретой во рту, которые подходят к ожидающим путешественникам, вкрадчиво и бесцеремонно заводят разговор своими гортанными голосами, агрессивно дергая головой, рассчитывая... на что? На деньги? Интим? На то, что ты поможешь им скоротать время? Один подошел ко мне и заговорил про «девочек с желтых страниц». Продать он их хотел или купить? Он цеплялся за мой рукав, пока я не отдернул руку.

Был час ночи, серый свет фонарей, скулящая музыка и черный гудрон, весь в пятнах жвачки и окурках. Я смотрел на них с внезапным и болезненным интересом, словно вдруг начал различать составляющие их молекулы. А еще эта жуткая музыка. Видимо, сознание мое отчаянно пыталось овладеть этим местом, закрепить меня в нем, поскольку отчетливо казалось, что я уже начал выключаться из пространства и времени: враждебность незнакомой, чуждой среды подавляла и растворяла мою личность. Я таял. Моя индивидуальность, мой характер – все это распалось. Я превратился в элементарную частицу страха.

Думаю, в тот момент мне все-таки было немножко одиноко.

Вообще говоря, в менее экстремальных ситуациях одиночество в состоянии само о себе позаботиться. Оно помогает тебе разрабатывать стратегии его защиты. Уютный мрак кинозала и общество актеров на экране – защита от ненужных встреч. Как всякий организм, одиночество агрессивно и изобретательно борется за самосохранение.

Не помню, как я добрался до Стамбула.

* * *

В понедельник состоялось собрание Джен-кружка, и Дженнифер, теперь уже официальный его секретарь, никак не могла отсутствовать на заседании собственного кружка. Она чуть короче постриглась, на ней была вельветовая юбка до колен, ковбойские сапоги и темно-синие колготки. Не люблю, когда люди после долгих каникул сильно меняются. Конечно, перемены не такие, как в школе, когда майский мальчишка возвращается в сентябре взрослым парнем, но все равно действует на нервы.

Среди самых обсуждаемых тем были: участие самолетов расположенной неподалеку американской авиабазы в войне Судного дня (я слышал рокот их моторов над парком Паркерс-Пис, когда шел из паба с сырными пирогами; очень впечатлило; надеюсь, летчики тоже заявятся в «Кречет» и распишутся на потолке) и заговор ЦРУ, из-за которого свергли чилийского президента Альенде.

О чилийском вине следовало забыть, но под руководством Дженнифер мы благополучно добыли несколько бутылок красного Hironnelle, выходило по десять пенсов за бокал. По-моему, hironnelle по-французски «ласточка». Очень мило со стороны дома «Петер Доминик»!

Когда мы перед уходом прибирали за собой, я увидел, что из сумки Дженнифер выпал конверт.

Не раздумывая, я поднял его и сунул в карман. Вернувшись к себе в Клок-Корт, я рассмотрел конверт под рабочей лампой «Энглпойз». Адрес был написан от руки, лимингтонский, мистеру и миссис Р. П. Аркланд. Марка на конверте второго класса, для несрочной отправки.

Надо было вернуть конверт Дженнифер, но потом я решил сам отнести его на почту, завтра. Встал в одиннадцать, тут же вспомнил, что в привратницкой есть ксерокс; но все эти седые угрюмые дядьки страшно любопытны и суют свой нос в каждую бумажку. Другой ксерокс есть на стойке выдачи в университетской библиотеке, но там надо заполнять бланк заказа. Чуть позже всплыл в памяти почтамт на улице Сент-Эндрю.

Встав с кровати, я первым делом поставил чайник. Подержал конверт над паром и осторожно провел ножом под краями клапана.

Письмо я скопировал на почте. Из боковой щели вылетели тонкие посеревшие листки. Вернувшись к себе, я сложил листочки по старым сгибам, сунул в уже высохший конверт, осторожно освежил клеевой слой клеем из банки и заклеил. Потом я снова сходил на почтамт (не хотелось опускать письмо в почтовый ящик колледжа), опять вернулся и наконец-то сел его читать, прихлебывая «Нескафе». Вот что там было:

Дорогие мама и папа!

Спасибо за письмо, за чек и за колготки. Все как нельзя кстати.

Жить в отдельном доме очень здорово. Правда, Энн и Молли сейчас живут со мной, в их комнатах какая-то протечка. Ник даже не подвинулся, хотя у него

самая лучшая комната. Очень по-мужски! Но это и к лучшему, жить в одной комнате с Ником все равно никто бы не согласился...

Мам, я послушалась твоего совета, покрасила кухню, так гораздо веселее. В комиссионке нашла симпатичное старое кресло для своей комнаты.

Все бы ничего, только жуткий холод! Одному Господу известно, что тут будет в январе. Газовый камин в гостиной на счетчике, платить никому не хочется. Ник вечно твердит, что сегодня не ночует, и камин ему не требуется.

В результате гостиной мы практически не пользуемся и расплзаемся по комнатам заниматься, что похвально, но малосоциально.

Готовим по очереди, продукты в складчину. Энн готовит лучше всех, но Ник ворчит, что она слишком много тратит (особенно на мясо), поэтому мы стали практически вегетарианцами. Энн говорит, что плотоядные инстинкты можно удовлетворить днем за обедом. В холодильнике у каждого своя полка, однако молока в доме вечно нет, хотя целых четыре хозяина.

Еще проблема с ключами. Замок один, с защелкой. Ник и с этим нас достает. Свой ключ он часто отдает Ханне, которая все собирается сделать копию, но до сих пор не сделала. А Ник среди ночи колотит в дверь.

Сплю под пуховым одеялом, сверху еще плед, в лыжных носках, в комнате постоянно горит газовый обогреватель, выключаю в самый последний момент. В три прыжка к нему, гашу и бегом в кровать.

Но просыпаться утром все равно приятно. Напротив живет черепаховый кот, он нас почти признал. Отдернешь шторы и видишь, как он потягивается на крыше под слабыми утренними лучами. Мне так нравится смотреть на россыпи серых сланцевых крыш – тут вокруг множество маленьких кирпичных домишек. Несколько минут валяюсь и гляжу в окно, пока «бестолковый дискжокей», как выражается папа, что-то бормочет по радио. Надеваю другие носки, тапки, свитер и пальто, спускаюсь в кухню, пока греется чайник, открываю заднюю дверь и зову кота. Он плюхается с крыши сарая и робко взбирается на ступеньку, где (если повезет) ему предложат блюдечко молока и погладят.

Завариваю чай, беру кружку и для Энн (у Молли лекции только в одиннадцать), поднимаюсь, чищу зубы (не жалея пасты, тщательно: оч. б. расх.). Неужели тебе все это интересно?! Мам, пропускай, если скучно...

Дальше ищу подходящую одежду (толстую и шерстяную), проверяю, те ли книги положила, забегаю еще разок в кухню, схватить тост с раств. кофе, и выкатываю из прихожей на улицу свой верный велик.

На улице дымка и холод, но все как-то светло, дома такие крохотные. Как кукольные домики. Еду медленно (берегу сапоги) по закоулкам, смотрю, как знакомые уже люди выходят из дома, идут на автобусную остановку, забирают с порога бутылки с молоком. Пожалуй, это мое самое любимое время дня. Иногда вижу, как какой-нибудь первокурсник, воровато озираясь, бредет в колледж после ночной отлучки. Безобразник...

Как здорово наблюдать за просыпающимся городом. Открываются магазины, от станции отходят автобусы и едут по центральной, Сент-Эндрюс. Но мне больше нравятся маленькие улочки. Я пересекаю Пембрук-стрит и Силвер-стрит, и вот я уже на том берегу реки, и думаю о тех, кто бывал тут прежде, – о сотрудниках Кавендишской лаборатории, о нобелевских лауреатах, о Мильтоне, Дарвине и Вордсворте, конечно, но больше – о поколениях молодых мужчин и женщин, которые ничем не прославились, но были настолько счастливы наконец попасть сюда и встретить родственные души, что плевать хотели и на промозглый холод, и на нехватку денег на газ, и на жирные завтраки. Я думаю о живших тут мужчинах в твидовых пиджаках с заплатами на локтях и женщинах в синих чулках и грубых башмаках и до сих пор за них радуюсь.

Между прочим (или, как выражается, Салли, «промежду прочим»), с Робом мы все-таки иногда встречаемся, хоть я и обещала тебе, что это «несерьезно», и нет, я не забыла, что у меня впереди вся жизнь что и в моем возрасте «дружба важнее любви» (© 1968. Р. П. Аркланд, МА; копирайт подтверждается ежегодно начиная с...).

К 8:45 я приезжаю в Сиджвик-Сайт, там сразу встречаю друзей, в том числе Роба, Стюарта (если он не в Лондоне и не в Голливуде...) и разных девчонок из нашего колледжа. Ф-т оч. хор. организовал лекции для несчастных третьекурсников, которых ждет Армагеддон выпускных, все до обеда. Обычно их три – т. е. в девять, в десять и в двенадцать. С одиннадцати до двенадцати можно посидеть в факультетской библиотеке (там-то крыша точно не протечет:

спасибо, мистер Джеймс Стирлинг![17 - Джеймс Фрезер Стирлинг (1926–1992) – шотландский архитектор; современное здание библиотеки исторического факультета Кембриджа было построено в 1960-е годы.] или в Центре перспективных исследований – точнее, в их кафетерии. Самые интересные лекции у доктора Бивани (это женщина, по девятнадцатому веку) и у мистера Ричардсона (совр. Европа). Хуже всего читает доктор Дитчли, редкий зануда.

На обед обычно возвращаюсь в свой колл. (в буфете на втором этаже оч. дешевый салат). Днем по вт и чт волейбол, оч. здорово. В школе, ну, ты знаешь, мы больше придуривались, чем играли, а тут я прямо прониклась, честно. Когда нет волейбола, иду в кино (хоть на мейнстрим, хоть на артхаус), или в нашу библиотеку, или в гости. В Эммануэле познакомилась с симпатичным парнем (Чарли), он изучает английскую филологию, у него клевые пластинки и оч. прикольный сосед по комнате (Майлз), из Лидса.

С пяти тут уже болотная темень; можно выпить чаю в «Причуде» (которую Чарли и Майлз, должна с сожалением сообщить, называют более грубым словом), иногда заскакиваю в книжный или супермаркет, если моя очередь готовить. Приятно прийти домой первой и создать там тепло и уют – по мере возможности, конечно. Включить большой стереопроектор в гостиной и, слушая музыку, делать себе тост и ждать, пока закипит чайник. Чарли одолжил мне запись группы Focus, это рок, голландцы, синтезатор и чудесная гитара – ах, вам с папой не понять!

В понедельник после ужина у нас заседание кружка, в Джизес-колледже, так что придется подготовиться. В прошлый раз народу пришло немного, обидно, – актив, три-четыре новичка и этот парень, Майк, про которого я тебе рассказывала (!).

По вечерам я обычно занимаюсь, часа два, но и в люди тоже выхожу. Роб водит меня в джаз- и фолк-клубы в разных колледжах, а иногда приглашает в паб. В пабе «Митра» – классный музыкальный автомат. Рядом с «Митрой» есть еще «Филей», там тоже всегда весело. Мне нравятся заведения на отшибе. В домиках у реки, с маленькими угольными каминами. Не волнуйтесь, мы не напиваемся.

Наконец-то посмотрела черновой монтаж того, что мы наснимали в Ирландии, и должна сказать, получилось, по-моему, неплохо. Стюарт очень способный парень. Есть там сцена со мной, которая точно тебе не понравится, предупреждаю заранее. (Хотя не факт, что ты его увидишь. В широкий прокат он

не выйдет, покажут только на закрытых просмотрах в Киноклубе. Но ты ведь туда потащишься, я знаю. Как с той похабной книжкой, когда я тебя предупредила – не читай! – и ты тут же пошла и ее купила.) Ханна вышла потрясающе, я на ее фоне полный неадекват. Даже когда говорит кто-то другой, она словно заполняет собой весь экран. Алекс сыграл лучше, чем мне казалось, хотя в некоторых сценах переживает.

Тут вообще много всякого происходит, времени на все категорически не хватает. Дополнительно занимаюсь франц. с одной старушкой на Ленсфилд-роуд (чтобы читать документы). Когда возвращаешься назад, в витринах полно афиш: то тут концерт, то там. Глаза разбегаются (и уши!). Университетский струнный ансамбль, «Нельзя ее развратницей назвать» и «Юлий Цезарь» в Университетском театре, и общество «Мадригал» в Ньюнэм-колледже, и «Добрый человек из Сезуана» в Сент-Джоне... Знаю, это банально, но действительно жаль, что в сутках только двадцать четыре часа.

Конечно, я волнуюсь насчет выпускных, но стараюсь думать про это (про них) поменьше. Если получу «сама-знаешь-что» (как с той шотландской пьесой, боюсь сглазить), могут возникнуть, конечно, новые проблемы, придется заняться тем, что Роб называет «наукой». Так что, папочка, м. б., стоит ограничиться «джентльменским дипломом». Что ж, que sera sera.[18 - Что будет, то и будет (фр.).] Да, дочь у вас мыслит крайне оригинально!

Рада, что вам понравилась свадьба Пенни Мартин. Даже если вас не пригласили на свадьбу принцессы Анны и Марка Филлипса, думаю, в гостях у Брайана и Гейл было не хуже. Гейл испекла свое сырное печенье? А Брайан произнес речь? То есть он по-прежнему в форме?

Скоро уже полночь. Промежду прочим (привет, Салли!), я иногда листаю газеты и вычитала, что Бакалейщик Хит[19 - Имеется в виду премьер-министр Эдвард Хит. (Прим. перев.)] собирается ввести трехдневную рабочую неделю. Вчера вечером я сказала об этом Робу, а он мне: «А я и так стараюсь не перерабатывать». Решила, вам понравится.

Все, пора укладываться. Прежде чем погасить свет, позволю себе последний глоток «оглушающей поп-музыки» – так, папа?

Позже: а-а, как же мне нравится. Иэн Аккерман, долгое соло на гитаре, громкость в наушниках на макс. Теперь наконец засну.

Очень-очень вас люблю, – ваша очень старательная, скорее бедная, постоянно мерзнущая (но счастливая) дочь

Джен-Джен.

Целую-целую-целую.

В письме Дженнифер мне только одна вещь не понравилась, и вы, наверное, догадались какая. Мне совершенно не понравилось это: (!).

Даже не слово, а маленькая вертикальная черточка с точкой, и те в скобках.

А все остальное я прочел с удовольствием. Разумеется, она, как любая нормальная студентка, всего не выкладывала. Ни слова о наркотиках, о сигаретах. Или, например, о сексе.

Двуличная, скажете вы. Думаю, сама Джен употребила бы другое слово: тактичная.

Папа мне очень понравился, да и как он мог не понравиться? Слегка напоминает мистера Беннета из «Гордости и предубеждения». (Ау, доктор Стенли! Не угодно ли прочесть четыре странички на тему «Матримониальные мотивы в романах Джейн Остин»? Нет? Вы уверены?)

Я убрал письмо Джен в нижний ящик стола. Ящик запер. Что ж, мистер Аркланд явно симпатичный. Интересно, а сестры у Джен есть? Если он действительно типаж мистера Беннета, сестры должны быть. Между прочим, МА, магистр искусств, – то есть либо защитился после окончания обычного университета, либо заплатил пять гиней в одном из «старинных», чтобы из бакалавра стать магистром.

Если второе, значит, он человек солидный, представителей его поколения принимали не по результатам экзаменов, а просто за деньги. Стипендий тогда не существовало. Адрес скромный, но Джен не выглядит провинциалкой – у нее

литературная речь, без снобизма, со всеми этими студенческими «ща-а-аз» и «прикинь» – но и без просторечия. Вот и мне бы так. И голос у нее чудесный. Кажется, будто она постоянно сдерживает смех, боится обидеть собеседника. Так и хочется сказать, да смейся сколько угодно, ничего страшного.

Другое, чем поразил меня мистер Беннет, то есть мистер Аркланд, прямо до самого нутра, – это тем, что он жив. И сейчас ему, наверное, всего каких-то пятьдесят с небольшим.

* * *

Мой отец умер, когда мне было двенадцать. Не стану притворяться, будто это стало для нас неожиданностью. Однажды я, как обычно, сидел с Джули. По утрам она ходила в бесплатный садик, потом мама забегала и отводила ее к Каллаханам или еще к кому-то (по пути назад в отель), а я забирал Джулс домой по пути из школы.

В одиннадцать лет я поступил в среднюю школу, хорошо сдав экзамены, притом что учился я в жалкой, «для всех подряд», начальной школе Сент-Бидс. Что в ней было хорошо – это что никто там тебя не трогал. Домашние задания были одно название, и можно было бродить из класса в класс и выбирать уроки, какие больше нравятся. Видимо, это была «инициатива» местной власти. Я ходил в основном на естествознание и историю, а одна наша девочка все пять лет проторчала на уроках рукоделия. (Не удивлюсь, если у нее теперь своя дизайнерская компания в Лондоне.) В гости никто никого не приглашал, потому что мамы почти у всех работали, и посторонние в доме были ни к чему. У пятерых моих ровесников отцы находились «в командировке» (то есть в тюрьме), а у большинства вообще бросили семью; на этом фоне полная семья Энглби выглядела аномальной.

Парни в средней школе были совсем другие. Из полных семей, отцы некоторых занимались такими вещами, как стоматология, а у одного мальчишки папа был даже «солиситор» (так он всем говорил). Общего с этими ребятами у меня было немного, хотя мне нравились их модные ранцы и гоночные велики.

Ходу от автобусной остановки до Каллаханов было минут десять, я барабанил в дверь, заранее задерживая дыхание, чтобы не вдохнуть застоявшуюся, затхлую вонь, шибавшую в нос. Открывал кто-то из близнецов. Почему в домах бедняков

так ужасно пахнет? У нас тоже, кстати, и мне казалось, так у всех, пока нас не пригласили к директору по случаю окончания учебного года. Там пахло иначе – воздухом, деревом, чем-то таким.

Джули выбежала вприпрыжку, схватила меня за руку, и мы, как обычно, пошли вдоль нашей Трафальгар-террас. Позади закопченных домиков из красного кирпича, мимо окошек с фарфоровыми зверушками, латунными цветочными горшками и посеребрившими тюлевыми занавесками. Это я так выразился отталкивающе, но на самом деле я люблю старые английские, потемневшие от времени кирпичные дома. Уж поверьте, не так они и плохи. Как только мы пришли, я сразу заварил чаю и сделал тосты с медом, усадил ее смотреть сериал «Крэкерджек» по черно-белому «Редифьюжну» с нечетким, в крапинку, изображением, а сам пошел на кухню делать уроки.

Зазвонил телефон, я снял трубку.

– Майк. Слава богу, ты уже дома. Я насчет папы. Его увезла «неотложка». В больницу Бэттл. Тебе надо бы прийти. Возьми немного денег из вазочки на каминной полке в кухне. Спросишь «палату Листера», это послеоперационная палата.

– А как же Джули?

– Придется взять ее с собой.

Где больница Бэттл, знали все, место было известное, но добираться туда оказалось непросто – на двух автобусах, потом еще минут пятнадцать пешком. На последнем этапе я тащил Джули на плечах. В приемной был тот же серый свет, как в окнах таинственного заведения со стариками. Нам велели идти по длинному каменному коридору, где время от времени появлялась надпись «палата Листера» со стрелочкой, а рядом другие стрелки и надписи: рентгенологическое отделение, патологоанатомическое отделение, отделение матери и ребенка, онкологическое отделение Раунтри.

Помню, как мы прошли сквозь наполовину застекленные распашные двери и оказались во дворе, где стояли машины «скорой» и мусорные баки. Моросил дождь, Джули дергала меня за куртку, ныла, чтобы я шел помедленнее. С другой стороны двора оказались еще корпуса, новее и гораздо компактнее

викторианского гигантского здания, из которого мы вышли, но и они выглядели уныло-серыми, как будто очень быстро состарились от всех смертей, которые приняли, сдали и забыли.

Наконец мы попали в «палату Листера» – душное помещение с лампами дневного света, ширмами и приспущенными шторами, где лежали неподвижные старики, словно уже на пути в мир иной. По телевизору показывали первый вечерний выпуск новостей. Я не сразу нашел глазами маму, сидевшую на краешке койки у окна. Она обернулась, когда мы подошли, но ничего не сказала. Она была в плаще и косынке – даже не разделась. Молча прижала палец к губам. Отец лежал на спине, с трубкой в носу и иглой капельницы, воткнутой в руку, глаза закрыты, челюсть слегка отвисла. Кожа стала пепельно-серой, на подбородке отросла седая щетина; вставные зубы ему вынули. Пижамная куртка была распахнута, по худой безволосой груди вились провода, прикрепленные белыми присосками. Я представил себе его сердце, слишком толстую мышцу, норовящую улизнуть от работы.

Я пытался вспоминать отца моложе – и здоровее. Ведь должно было остаться хоть что-то: вот мы с ним на пляже, или играем в парке в футбол, или я сижу у него на плечах, или помогаю наряжать елку. Но ничего не вспоминалось. Всплыло только вот это: ближе к вечеру в пятницу я жду папу у служебного входа бумажной фабрики, и он выходит, держа в руке серый конверт.

– Вот и все, – говорит он. – Еще неделя долой. Уж ты постарайся, Майк, тоже сюда не угодить.

Я смотрел на лежащего отца. Он вдруг кашлянул, изо рта выкатилась капля коричневой, неживой уже крови, и стекла сбоку вдоль подбородка. Через несколько секунд он перестал дышать. Я подумал, что очень-очень постараюсь и сюда тоже не угодить.

В каком-то смысле смерть отца меня сформировала – а именно в образовательном. На похоронах викарий крепко обнял меня за плечи и заглянул в глаза:

– Вероятно, тебе одиноко, но ты не один.

Я ждал, что он заведет про Господа, который меня любит.

– Не ты первый, другие тоже прошли через это испытание. И я стоял там, где сегодня стоишь ты. Ты тоже выдержишь, хотя это страшный удар.

Я вырвался, потому что не желал это слушать. Как раз сейчас мне хотелось побыть одному. Зачем мне чья-то еще скорбь? Мне хватало и своей. Зачем мне горе во множественном числе, когда оно и в единственном невыносимо? Теперь мне главное – как-то его перетерпеть, приладиться к нему, переварить, как удав постепенно переваривает несоразмерную с ним жертву.

Поскольку всех скорбящих, пожелавших почтить отца, наш дом вместить не мог, викарий пригласил их в пасторат. Были люди с фабрики. Мастер-технолог, начальник цеха, двое папиных товарищей, мои тети и дяди, соседи – тридцать с лишним человек. Домработница викария сделала сэндвичи с рыбным паштетом и спредом, еще был чай и кекс с изюмом. И херес для желающих.

Викарий и за столом мне покоя не давал.

– Насколько я понял, ты учишься в средней школе, – сказал он.

Гости уже перестали скорбеть и перешли к обычной житейской болтовне, словно ничего особенного не произошло. А я все думал о сырых комьях земли, которыми закидали гроб, и о том, за какой срок отец разложится. Может, туда добавляют какие-то химикаты, чтобы ускорить процесс, как в компостную кучу? Он хоть одетый там, в холодной могиле?

– Ты не думал насчет Чатфилда?

– А это что?

– Морское училище. Насколько я понял из прощальных речей, твой папа во время войны служил в военном флоте. Тебя могли бы принять в Чатфилд, ты имеешь право претендовать. Я там у них приглашенный капеллан, так что знаю. Имей это в виду, особенно если ты не очень привык к новой школе. Я поговорю с твоей мамой.

Школа меня вполне устраивала, тем не менее в марте я, сидя в незнакомом, чужом классе, написал несколько экзаменационных работ под присмотром мисс

Пенроуз, учительницы рисования. Работы были для Чатфилда, морского училища в статусе закрытой средней школы, находившегося всего в часе езды от дома. Когда-то училище было учреждено несколькими крупными военно-морскими чинами для детей погибших моряков, но спустя годы стало принимать и «простых» мальчишек. Впрочем, не таких уж и простых, догадывался я: было весьма желательно, чтобы за будущего ученика могли хорошо платить.

Мы платить не могли. Но высшая награда в конкурсе – имени Ромни – покрывала почти все расходы. По латыни, которой я в жизни не учил, меня вечерами добровольно натаскивал мистер Бригз из средней школы. С грамматическим анализом пришлось повозиться, зато перевод с листа попался простой (стихотворение Катулла и прозаический кусок, сюжет которого я знал). Остальное было совсем просто. Меня вызвали на собеседование к директору. Мы решили, что это добрый знак.

Получалось, отец умер очень вовремя. И вот в школу пришло письмо, и к нам домой тоже, где сообщалось, что я победил, что мне теперь все оплатят, что заниматься я начну в сентябре, когда достигну тринадцати с половиной лет. В письме выражалась искренняя надежда, что я займу предлагаемое место, поскольку остальные конкурсанты придурки.

Нет, там было написано не так. Но за всей велеречивостью, дающей понять, какое это старинное, достопочтенное и серьезное заведение и как сказочно мне повезло, – на меня вдруг повеяло отчаянием.

Я не мог понять почему.

Глава третья

От станции я дошел до ворот, от которых начиналась гудроновая подъездная дорога длиной в полмили, окаймленная мокрыми хвойными деревьями. Наконец я добрался до главного здания и спросил у человека в будке, куда мне идти дальше.

– А какое тебе здание?

– Коллингем.

– Новичок, что ли?

– Да.

– Видишь дверь в том углу двора? Там директор проводит чаепитие для новичков. Опоздал ты, парень.

Я пошел, куда он показал, постучался. Дверь открыл седовласый человек в черной мантии.

– Вы, наверное, Энглби. Познакомьтесь с остальными.

За низеньким столом сидели, сгорбившись над чашками с блюдами, трое парней в твидовых пиджаках и фланелевых брюках. Из письма я уже знал фамилию директора, Тэлбот. Один парень был светловолосый, в очках – Фрэнсис, второй, с темными волосами – Маккейн, третий, черноглазый – Бэтли.

Мистер Тэлбот рассказал, что я потерял отца и выиграл конкурс Ромни; все трое посмотрели на меня с ужасом. Бэтли был из Йоркшира, у них на ферме нет электричества и водопровода. Мистер Тэлбот рассказывал об этом с явным удовольствием, хотя я не понимал, что тут хорошего. Даже у нас на Трафальгар-террас были и водопровод, и электричество. В домишке Каллаханов они и то были. На вступительных экзаменах Бэтли набрал сорок четыре балла из ста, при том что тридцать начислялось уже за то, что ты явился на экзамен и написал свою фамилию в экзаменационном листке. Но это мистера Тэлбота не слишком огорчало, скорее наоборот. Бэтли, видимо, считался подходящим для училища по каким-то другим критериям. (Двое остальных парней, Маккейн и Фрэнсис, оказались ничем не примечательными.)

Мы вышли на площадку, Тэлбот повел нас по каменной лестнице с металлическими балясинами на второй этаж и распахнул облезлые двойные двери. Это и был Коллингем, мое новое пристанище.

Он представлял собой широкий коридор с дверями спален по обе стороны и висячими светильниками с металлическим абажуром. На облупившихся стенах

еще сохранилась зеленая краска. Мы прошли мимо двадцати пяти, наверное, дверей, до самого конца коридора, и над каждой дверью блестела металлическая полоска с фамилией. Свою я увидел над последней. Внутри была железная кровать, стол, простой стул с жесткой спинкой, небольшой комод. Окно выходило на плоскую крышу, за которой высились двускатные крыши, а еще дальше – часовая башня. Перегородка между моей и соседней комнаткой была деревянная, но стена напротив нее, торцевая – из голого кирпича.

– Старшие курсанты придут с вами знакомиться и доходчиво объяснят, какие тут у нас порядки, – сказал мистер Тэлбот. – Чай в шесть в Трафтонсе. Вопросы есть?

– У меня, сэр, – сказал я. – Не подскажете, где мой багаж? Одежда и другие вещи.

– Разве тебя не родственники привезли? Впрочем, едва ли, у вас ведь нет машины? Если багаж прибыл на поезде, его со станции доставили на проходную. Тебе лучше пойти его забрать. И смотри не опоздай на чай.

– А привратник не мог бы...

– Он привратник, и не надо превратно толковать его обязанности, ха-ха-ха.

Фрэнсис и Маккейн нервно захихикали, вторя мистеру Тэлботу. Бэтли был смущен и озадачен.

Я проволоч свой чемодан по дворику, потом стал втаскивать по лестнице на второй этаж; взбегавшие и выбегавшие мальчишки орал на меня, поскольку я мешал им. Уже внутри мальчишка постарше, может даже староста, велел поднять чемодан, чтобы не поцарапать деревянный пол.

– Тяжелый очень, – сказал я.

– Тогда открой прямо здесь, вытащи часть шмоток и отнеси в руках, вот чемодан и станет легче, – он говорил так, будто перед ним полный кретин.

Набрав полную охапку застиранных рубашек, носков и фуфаек (все это мама купила в школьной комиссионке), я поплелся по коридору; тут же нашлись

желающие повеселиться: выхватить что-нибудь из охапки и закинуть на перегородку между спальнями.

«Дедом» у меня был Риджвей, низкорослый и какой-то дерганый парень.

- Как только услышишь: «Дух!» - бегом к своему дедушке, со всех ног. Ты на него работаешь. И еще ты должен за две недели кучу всего вызубрить назубок. Знать поименно всех учителей, все подразделения, всех капитанов по рангам, все пункты устава, что где находится. Изучай. - Он положил на стол брошюрку с перечнем правил, годовой календарь и «телефоны служб и подразделений».

- Где находится «Трафтонс»? - спросил я.

- По Портовой дорожке, за Гренвиллом.

- Что-то еще?

- Еще это: не высовываться, не болтать, не возникать.

- Не возникать?

- Ну да, не лезть на рожон. Надо потише. И не попадаться на глаза.

- Спасибо, Риджвей.

За исключением недели на море, в Бексхилле, я всегда спал дома, и теперь думал, как с этим будет. Я не знал, где тут можно почистить зубы, когда положено выключать свет. Поэтому зубы чистил прямо в комнате, выплевывая воду изо рта в окно, и свет погасил очень рано, вспомнив про Бэтли: сообразит ли он, что этот металлический рычажок на стене - выключатель?

Первые дни я почти не помню. Наверное, я ждал, что кто-то объяснит, что тут происходит, какова цель, но потом сообразил, что ничего не объяснять и есть здешний принцип. Спросить - значит проявить слабость. Кто сообразительный, тот помалкивает. Он сам знает, как быть. Откуда? Интуитивно? С помощью Таро? магии? Нет, ни в коем случае. Будь в команде, не суетись, и узнаешь.

«Не возникать». Впечатление произвела не столько эта фраза, сколько затравленный взгляд Риджвея, когда он ее произносил.

Как лауреата конкурса Ромни меня отправили в класс на год-два старше. За такую дерзость одноклассники со мной не разговаривали. Ни разу – до окончания училища.

Учителя выглядели практически одинаково. Черные мантии поверх твидовых пиджаков, мешковатые серые брюки, бежевые ботинки на шнурках и с широким рантом. Подошвы были как шины, и наставники плавным ходом перемещались по нашим дворикам и галереям. У всех были седые короткие бобрики и короткие клочки. Рид – Жердь, Бенсон – Жбан, Лайнем – Бочка, Максвелл – Бинго. Различить их было трудно, как и испытывать к ним хоть какие-то чувства. Впрочем, равнодушие было взаимным.

Вспомнилась любимая фраза Жерди Рида: «Первым же автобусом в Пруэтт». Я долго ломал голову: что, черт возьми, он имеет в виду? Потом мне как-то объяснили, что «Парк-Пруэтт» – это известный сумасшедший дом под Бейсингстоком. Сказанешь что-нибудь не то на географии, жди предсказуемый совет: «Первым же автобусом в Пруэтт. Отходит в два часа».

Возвращаясь однажды после уроков в свой закуток (на третий, кажется, день моего появления в училище), я увидел ближе к концу коридора парня лет семнадцати, он стоял, засунув большие пальцы под ремень, и смотрел, как я иду. Когда я подошел ближе, он злобно ухмыльнулся, сверля меня взглядом. Спрятаться у кого-нибудь в комнате я не мог, ведь знакомых у меня еще не было. Как только я с ним поравнялся, он шагнул вбок, загоразивая дорогу. Я попытался его обойти, но он не пускал. Я взглянул на него, пытаюсь понять, что этому парню нужно. Он был выше на два фута и, как многие в Чатфилде (это я уже успел заметить), с прыщавой физиономией и лоснящимися волосами. Вернее, волос я толком не видел – вместо них на голове блестела пинта бриолина, тщательно разделенная на пробор. Цвет кожи тоже был специфический: будто парня шарахнули по башке пакетом с малиновым йогуртом, и он растекся по всему лицу. Наконец он позволил мне пройти, но дал пинка, прямо по копчику. Мне потом сказали, что это Бейнс, Дж. Т.

У него было два дружка, Уингейт и Худ. Они «пригляделись» и пришли к выводу, что я «задавака», а так дело не пойдет.

Когда я в тот день пришел с футбола, постельное белье было мокрым хоть выжимай, а все вещи раскиданы по комнате. В ту ночь я спал на матрасе, но на следующий день залили и его, пришлось лечь прямо на металлическую сетку.

В главном коридоре Коллингема стоял стол, на который дважды в день выкладывали хлеб и маргарин, приносили их в пластмассовых ведерках для мусора. Маргарин из оптовых поставок, на обертке стоял штамп «не для розничной торговли». Часто маргарин этот размазывали по стенке или по полу, где уже имелись следы от мармайта и липкого кукурузного сиропа. В ведерко еще клали бумажный пакет с белыми кристалликами, по идее, если смешать щепотку с водой, получится газировка. Никто этого не делал, по крайней мере, при мне. Помимо прочего, я должен был следить за чистотой стола, в том числе подтирать пролитое молоко. Выданной мне тряпкой можно было только размазывать его по столу, одновременно сдерживая подкатывающую тошноту от ее вони.

За моим бессмысленным усердием наблюдал «староста» Марлоу, долговязый и очень бледный парень – казалось, кровь не доходит до его лица из-за слишком тесного накрахмаленного воротничка. Марлоу заставлял меня тереть стол опять и опять, явно не из любви к чистоте, а ради чего-то для меня непостижимого. Уставившись в пол, Марлоу опять и опять произносил «еще раз».

Наконец мне было велено отправляться к старшине корпуса – угрюмому молодому человеку по фамилии Кейз, с серым лицом – лицом человека, который за пять лет съел столько хлеба с маргарином, что постиг дух Чатфилда. Кейз сказал, что моя «позиция» ошибочна, и поэтому ему придется отлупить меня тростью. Я и не знал, что у меня есть какая-то «позиция». Взамен порки предлагалось до десяти следующего вечера трижды переписать весь текст устава, набранного петитом через одинарный интервал. Роста Кейз был ниже среднего (в регби его ставили полузащитником), но явно сильный и неуравновешенный, с мертвенно-пустыми глазами. Я выбрал устав. Значит, всю ночь писать с фонариком под одеялом и полдня – на уроках под партой. Наказание включало риск, что учитель заметит, – тогда порка обеспечена уже точно. Когда я протянул Кейзу толстенную пачку чуть загибавшихся по краям листков, удовольствия он не выказал; похоже, он был раздосадован и отослал меня прочь, предупредив, что в другой раз порка будет без вариантов.

Была еще обязанность – встать за полчаса до подъема, чтобы отнести чай в постель парню, ответственному за чистоту комнат. Им оказался тот самый

Бейнс. Приходилось сильно трясти его за плечо, чтобы разбудить, он страшно ругался, потом отхлебывал чай и шел проверять, как я убрал свою комнатку, причем выискивал недовытертую пыль, проводя пальцем по оконной замазке.

Дни мои проходили в определенном ритме. Завтрак, уроки в классе под гнетом бойкота, потом назад в комнату, где все раскидано; уборка; опять уроки, регби; хозяйственные дела; отбой... У меня был маленький транзистор, в половину книжной странички, и наушник. Накрывшись одеялом, я мог хоть на время спастись.

Господи, что же это такое...

* * *

Большая уборная находилась несколько в стороне от нашего корпуса, и никто мне не сказал, когда туда разрешено ходить. Однажды утром, на физике, минут через десять после начала урока я поднял руку и спросил:

– Сэр, можно мне выйти в туалет?

Учитель не разрешил, велел дожидаться перемены. В классе стали перешептываться, со всех сторон доносилось: «туалет... туалет... туалет». Я решил: это потому, что я попросился среди урока, но ведь никто меня не предупредил. И только потом я понял, что неуместным был не вопрос, а само слово. Оно тут было под запретом. И дома, и в обеих прежних школах уборную всегда называли туалетом, а как же тут? Я долго не мог узнать. Выяснилось: большая уборная – это «Корма Джексона». Писсуар одним лестничным пролетом выше, общий для двух этажей, именовался «Переходником». Кабинка под лестницей была «Сральной». Без нюансов.

К концу дня в Коллингеме не осталось никого, кто не обозвал бы меня. Отныне имя мое было «Туалет Энглби». И я с трудом заставлял себя не оборачиваться, когда кто-то в коридоре выкрикивал: «Туалет!»

Бейнс, Худ и Уингейт решили, что так просто мне не отделаться:

- Быстрее, когда тебя старшие зовут, Туалет. Или ты не знаешь собственного имени?

Они потащили меня в «Сральню», затолкали голову в унитаз и пустили воду.

- Так как тебя зовут?

- Энглби.

Они макали и макали, наконец я, едва не захлебнувшись, сдался:

- Туалет.

Я ждал, что они, наконец, обрадуются, но вид у них, когда они отпускали меня, был недовольный.

Удивительно, до чего быстро я приспособился к такому существованию. Каждый день я просыпался с ощущением привычной паники, поселившейся глубоко внутри. К тому времени, как я спускался в ванную умыться и почистить зубы, – к семи пятнадцати, – защитные инстинкты уже работали на полную мощность.

Поступившие со мной ровесники – Фрэнсис, Маккейн и Бэтли – могли потихоньку общаться между собой. Но я учился с ребятами на год старше, а они не смели со мной разговаривать. Только малый по прозвищу Дурик, по фамилии Топли, из-за очков похожий на рыбу, местный шут, над которым всем даже издеваться было скучно, иногда мне жеманно улыбался, но и он не осмеливался заговорить.

Я не могу их ни в чем винить. Кстати, Бэтли сунули в настолько отстающий класс, что было непонятно, на какой вообще возраст там ориентируются. Поэтому я с ним практически не виделся, встретился только раз, по пути с регби.

- Не везет тебе, Туалет, – сказал он. У него самого, видимо, все складывалось неплохо.

Как ни странно, меня включили во второй состав игроков моего возраста. Я был хукером, а задача хорошего хукера, как сказал бы Риджвей, «не возникать». Потом пятнадцатый номер из первого состава заболел свинкой, и меня

поставили вместо него. Никого из этой команды я не знал, хотя они тоже были моего возраста, но жили в других корпусах, а учились со своими ровесниками. Однако шестым чувством они уловили, что разговаривать со мной опасно, хотя двое-трое называли меня нормальным именем, а кто-то даже похвалил: «отличный пас». Я стал фанатом регби и допоздна пропадал на тренировках. Так наловчился, что вернувшийся после болезни пятнадцатый выбыл из команды. А я уже вовсю дрался за мяч; приятно бывало садануть плечом под дых, так, чтобы противник застонал. Или нагнать прыщавого засранца, совсем меня «затуалетившего», и, пригнувшись, дать ему по щиколоткам; чтобы услышать, как он грохнется, я был готов заполучить бутсой в лицо и остаться с полным ртом отскочивших шипов; а потом, если повезет, его еще потопчат, когда он окажется нижним в куче-мале. Я поменялся бутсами с Маккейном. Он терпеть не мог регби, а бутсы имел с металлическими шипами; иногда я замечал на шнурках следы крови.

После игры почти все шли в магазинчик за чипсами или конфетами – организм требовал добавки к бурде из столовских бачков. По какой-то причине – бедности, скорее всего, – мама никогда не давала мне карманных денег. Моей добавкой был только казенный хлеб с маргарином. Правда, однажды она прислала мне пирог. Почту доставлял кто-нибудь из младших, он же и оповещал.

– Посылка для Туалета! – выкрикнул наш почтальон звонким, еще не ломающимся голосом, и разом распахнулось несколько дверей.

– Интересно, что у нас здесь, – сказал Бейнс, выхватив у мальчишки сверток, и тут же разодрал коричневую обертку. – Пирог! Кто бы мог подумать, а, Туалет?

– Ты глянь! – подключился Уингейт. – Миссис Туалет сама пекла. Чё, на готовый из магазина денежек нету?

– Никакой это не пирог, – сказал Уингейт. – Глянь, какой тяжелый. Лови.

Он швырнул пирог Худу, тот поймал и отломил кусок. Сунул в рот.

– Вот так сюрприз, это же говно, – сказал он. – Самое натуральное.

– И вы дома это жрете? – спросил Бейнс. – Тепленьким, прямо из клозета?

Он начал перекидывать пирог с руки на руку, иногда нарочно роняя на пол, попутно приговаривая:

- Миссис Туалет, а что у нас сегодня на обед? Я бы с удовольствием поел дерьма.

Я подошел к столу, чтобы подобрать валявшуюся под ним упаковку. Потом вернулся в свою комнату, оставив пирог им на растерзание. В упаковке была записка: «Майк, мы готовили его вместе с Джули. Надеюсь, тебе понравится! Целую, мама».

Возможно, он не представлял собой ничего особенного, обе были теми еще кулинарками, пятилетняя сестренка уж точно.

Вечером пару дней спустя я лежал в кровати с учебником, когда вдруг без стука ввалился Уингейт. Вид у него всегда был озабоченный, парень вечно слонялся около душевых кабинок. Не говоря ни слова, он принялся бродить по комнате, брал мои вещи, рассматривал и клал на место. Он был тоже прыщавый, но не такой, как Бейнс, с синеватым от пробивавшейся щетины подбородком и глазами как у дохлой рыбы.

Я молчал, он тоже. Потом он остановился у кровати, долго пялился, наконец выдал:

- Трудись, Туалет, не отвлекайся.

Я опустил глаза на отрывок из Тита Ливия, который готовил на завтра. Я не смел снова взглянуть на Уингейта, но и без этого знал, что он кое-что с собой делает, прямо над кроватью. Латинский текст расплылся, слившись в мутное пятно, я не мог ничего разобрать. Немного погодя Уингейт засопел и испустил тихий стон.

- Смотри не забудь замыть одеяло, - сказал он, застегивая ширинку.

* * *

Чатфилд находится посреди большой деревни, начинающейся от самой ограды училища, и разделяет ее пополам, на Верхний и Нижний Рукли, своими гигантскими игровыми полями, участками пересеченной местности,

стрельбищами, хвойными перелесками и тренировочными площадками. На вершине холма в Верхнем Рукли стоял Лонгдейл, закрытая психбольница. Она была ровесницей Чатфилда, оба появились в 1855 году. Попечительский совет дурдома хотел, чтобы пациенты любовались холмами, начальству колледжа нужны были плоские пространства внизу для игровых полей, в результате все остались счастливы, если это подходящее слово в данных обстоятельствах.

Каждый понедельник в девять пятьдесят, когда мы сидели на сдвоенном уроке химии, в Лонгдейле начинались учения: отрабатывали поимку сбежавшего пациента, звучала сирена.

– Сэр, сэр, – в двадцать глоток начинали вопить парни, – это Крыса сбежал, точно он.

Крыса Дункан закатывал глаза и вздыхал. Я как-то попробовал тоже присоединиться к хору шутников, но только раз.

Однажды, когда у них и правда сбежал пациент, директор срочно собрал нас всех. Призвал ни в коем случае не вступать в разговор с незнакомцами. В тот день я вышел погулять в лес, втайне надеясь наткнуться на сбежавшего.

Поразительная штука, но Чатфилд считался очень престижным местом. Учеба там стоила дорого. Наши регбисты играли с командами знаменитых школ, таких как Хэрроу, и, притом что большинство выпускников попадало прямоком во флот, довольно много поступало в университеты, даже в самые престижные.

Пожаловаться старому Тэлботу мне даже в голову не приходило – это было бы бессмысленно. «Они не хотят со мной разговаривать...» – «А разве они обязаны это делать?» – «Они устраивают погром в моей комнате». – «Не стоит преувеличивать...» – «Уингейт... он ну... это... прямо мне на постель...» – «Не надо грязи».

Поскольку во всем этом участвовали и старшина корпуса, и старосты, то мои экзекуции были отчасти делом официальным. С какой стати верить новичку, который называет уборную туалетом, и его жалобам на ребят, которых сам мистер Тэлбот поощрял и пестовал?

Характеристика, выданная мне директором перед короткими каникулами, подтвердила: я был прав, что не поперся жаловаться. «Майк, будучи акселератором, к сожалению, слишком хорошо это понимает. Ему следовало бы вести себя осмотрительнее, не задевать товарищей». «А что такое акселерат?» – спросила мама.

* * *

Иногда я скрывался в ванной, пока Сидни, наш уборщик, личность скандальная, пил там чай. Каждое утро он разбрасывал горсть спитого чая по коридору, а потом гонял чаинки шваброй, собирая с пола пыль. Лет шестидесяти, мускулистый, с наколками на руках, он дослужился до капрала в какой-то интендантской части, но любил намекнуть на собственное активное участие в «заварушках».

Заодно приходилось выслушивать его похабные истории. Однажды в ванной я оказался в обществе Бэтли (уж не знаю, как и его туда занесло), мы сидели на деревянной решетке у ног оратора.

– Был я тогда в увольнительной, – начал Сидни, – и отловил одну пташку, слово за слово, ну и залез я на нее, а она: «О-о, Сид, не надо, умоляю», а я ей: «Я только кончиком». – «Ну, хорошо, Сид». Ну, я и дал ей жару, пока не отстрелялся. Она: «Сид, ты же обещал только кончиком!» – «Ты, видать, ослышалась, детка, я сказал, только кончим».

Сид зашелся хохотом до надсадного кашля, а после подытожил:

– А теперь, салаги, полное внимание. Средняя глубина женской манды девять с половиной дюймов. А елда у мужика – в среднем дюймов семь.

– Правда?

– Ну. Стало быть, в одной только Англии почти сто пятьдесят миль этого добра даром простаивает...

– Вот это да, Сидни! Сто пятьдесят миль пустой м...

– Так что не теряйтесь, на вашу долю всегда хватит.

Мы с Бэтли смотрели на него, как мальчишки на холсте Милле «Детство Уолтера Рэли» смотрят на моряка. Хотя вряд ли морской волк на картине просвещал их именно в этом вопросе. Впрочем, с моряков станется.

На время каникул я про Чатфилд забывал. Выкидывал его из головы, как только входил в наш дом на Трафальгар-террас. Это я всегда умел – притворяться, что ничего не происходит. Попробуйте вспомнить, что вы делали в последние полчаса, – уверены, что вспомните все? Ведя, например, машину на скорости восемьдесят миль в час, вы же не думаете о том, как ваш мозг, взаимодействуя с руками и глазами, заставляет вас исполнять точнейшие движения, чтобы вы не угробили ни себя, ни других? Вы думаете совсем о другом. О музыке по радио. О планах на вторник. Или с кем-нибудь мысленно беседуете. Большую часть того, что мы делаем, мы вообще не осознаем.

Когда начиналась последняя неделя каникул, у меня пересыхало во рту. И пропадал сон.

Возвратившись в Коллингем, я часто писал маме, иногда Джули. Отвечала мама редко, пропадала в своей гостинице, и я понял, что для нее написать мне письмо – лишь очередная забота в череде других.

«Дорогая Джули, – писал я тогда, – как дела? Только что занимался латынью, читал про римлян, про их историю. Римляне – это древние итальянцы, они когда-то завоевывали другие страны. Помнишь официанта из кафе «Оазис» рядом с кино? Так вот он – римлянин. Живу я тут весело. Придумал интересную игру. Скрутил несколько пар носков в один клубок. На кирпичной стене есть пятно, в него я и стараюсь этим мячом попасть. Сражаются две команды, типа звери против птиц. Чем ближе к пятну попадает мяч, тем больше очков. Счет записываю на листочке. Скворец сегодня молодец, а Зебра мазила. Напиши мне, Джулс, про что хочешь. Про подружек в школе, что вы делаете. Целую, Майк».

Странно было видеть на бумаге это имя. Я его уже больше месяца не слышал. «Майк».

После восьмого письма я получил листочек с тремя строчками, написанными карандашом.

«дарагой майк, я и Джейн играли с ее сестричками.

Мы ели с чайм сэвнич, привет, джули, цилую».

А я и не знал, что она уже научилась писать.

Это письмо мне удалось прочесть до того, как его перехватили. Накануне я сунул духу-письмоносцу два шиллинга и попросил не выкрикивать мое имя, чтобы Бейнс не узнал. Два шиллинга я вытащил из куртки в раздевалке, чья она, я не знал, поэтому совесть меня не мучила.

С тех пор я начал подворовывать регулярно. И польза – и настроение поднимает. Действовал я очень осторожно, банкноты никогда не трогал, только монеты, их труднее отследить. Брал не больше пяти пенсов из одного кармана. Однажды, когда была моя очередь убираться в раздевалке, я увидел на крючке коричневый твидовый пиджак Бейнса. В раздевалке я остался один и точно знал, что Бейнс допоздна пробудет на тренировке по регби. Во внутреннем кармане лежала фунтовая купюра. Целый фунт! Но я справился с искушением и сунул бумажку назад. Единственным, в чем я превосходил Бейнса, была сообразительность. Я понял, что это подстава и что он запомнил серийный номер.

С другой стороны, если бы меня поймали, то перед Бейнсом наверняка встала бы сложная задача. В случае огласки меня бы точно исключили, и тогда ему, Худу и Уингейту не над кем стало бы издеваться. Хотя, думаю, они решили бы вопрос, не сообщая начальству, «неофициально».

В двух милях от нас была церковь. Бейнс очень любил послать меня туда за копией с какой-нибудь резной медной таблички (прижимаешь к ней бумагу и чиркаешь карандашом: постепенно проступает рисунок). За двадцать пять минут я должен был переодеться в спортивный костюм, добежать, скопировать и вернуться. Нереально. И он гонял меня снова и снова, особенно если начинался дождь. Листок намокал, и нечем было доказать, что я вообще побывал в церкви.

Я заглядывал в это месиво из йогурта с давленной малиной, надеясь увидеть хоть тень сочувствия. Нет, только ярость, от которой Бейнс мигом багровел, только

нутряная злоба в узких водянистых глазках, в этих взрытых прыщами щеках, отчего он делался похож на бордовую гаргулью.

- Придется снова идти, Туалет. Живее. Шагом марш.

Иногда, лежа ночью в облитой водой постели, я представлял, как я его приканчиваю. Никакой жалости. Разве что притворная, с тем же шутовским лицемерием, каким упивался сам Бейнс. Добрый вечерок, Бейнс, скажу я, твердо глядя в водянистые ненавидящие зенки. Добрый вечер, Бейнс, поганый ты... поганая ты... Запас ругательств был у меня солидным, но ни одно не могло передать меру моей ненависти. Перебрав все на «е», на «п», на «х», я почему-то чаще всего останавливался на одном, с буквы «п». Звучало оно неплохо, но значило совсем другое, к делу не относящееся; и было слишком слабым: для такой твари, как Бейнс, – вообще ничто.

О самоубийстве я даже не помышлял, этим бы я ничего не добился. Иногда я все-таки рисовал в воображении, как однажды утром находят меня мертвым. Все в шоке. Бейнс, Уингейт и Худ образумились и полны раскаяния, это станет началом их взросления. Они вырастут приличными и великодушными людьми. И так щедро осчастливят современников, что смерть несчастного Туалета Энглби на заре их жизни покажется вполне адекватной жертвой.

На самом деле я прекрасно понимал, что все было бы совсем по-другому. Мистер Тэлбот попросит объяснить, в чем же тут все-таки дело. Выскажутся все. Старшина корпуса Кейз важно заметит, что я бывал «недостаточно скромным», но после тщательного изучения внутренних правил (по его распоряжению) вышеупомянутый курсант стал «более благоразумным». Риджвей, мой маленький персональный наставник, доложит, что он все мне рассказал, честно обо всем предупредил, сделал все, что было велено. Маккейн и Фрэнсис удивятся: «Ничего такого про него никогда не подумаешь». Бэтли едва ли поймет, о чем говорит директор. Худ, Уингейт и Бейнс будут смущены, но не так уж сильно. «Туалет дошел до ручки, не выдержал», – скажет кто-нибудь из этой троицы, как только Тэлбот удалится. – «Небось, дома напряг или чё». – «Тут-то в у него все было нормалек». И ведь сами этому поверят или постараются себя в этом убедить. То, что они со мной творили, вписывалось в славные традиции Коллингема. Старались ребятки исключительно в интересах родного училища, их собственных и даже в моих. Выполняли полуофициальную миссию.

Мистер Тэлбот предпочтет больше ничего не выяснять. Возможно, еще поинтересуется у доктора, не обращался ли я к нему.

Доктор Бенбоу, противный нудный замухрышка, интересовался исключительно состоянием паховой зоны питомцев. У только поступивших он мямлил гениталии, это называлось «осмотр новичков». В начале каждого курса все мы в одних халатах являлись к нему в кабинет. Бенбоу сидел на стуле с включенным фонариком, ты распахивал полы, а он проверял, не завелся ли у кого там грибок, вроде того, что бывает на стопе. В этом случае пораженная зона светилась лиловым.

Бенбоу – последний, к кому бы я обратился.

Еще мистер Тэлбот мог бы спросить у капеллана, не приходил ли я к нему посоветоваться. Тут тоже категорическое «нет». С «Живчиком» Ролласоном не советовался даже собственный заместитель.

Мама поднимать скандал не станет. Она вообще толком не понимала, как все устроено в этом мире, а тем более в нашем заведении. Директор постарается все замять, чтобы не попало в газеты. Через несколько дней о моей смерти все забудут.

Так что в результате Бейнс, Уингейт и Худ ничего не почувствуют, потому что результат и есть то, как ты ощущаешь произошедшее: а его не ощутят никак.

* * *

Но я больше не хочу думать ни про Чатфилд, ни про Бейнса Дж. Т. Все это давно осталось позади.

Сегодня у нас 19 ноября 1973 года, 18:30, я сижу у себя в комнате в Клок-Корте, в старинном своем университете.

Мне нравится точное время. 18:31 вечера понедельника 19 ноября 1973 года – это его передний фронт. Я существую среди первых атомов волны времени. Вот уже 18:32. Настоящее, пока я просто сидел, стало прошлым. На момент, когда я начал рассуждение, 18:31 было будущим, а теперь оно – минувшее. Тогда что есть настоящее? Оно – иллюзия; не может быть реальностью то, что невозможно

удержать. А коли так – чего нам в нем страшиться? (Звучит в духе Элиота.)

Если вы читаете эти записи спустя тридцать лет, постарайтесь не впасть в снисходительность, договорились? Не надо относиться ко мне как к старомодному чудаку в дурацких пиджаках и рубашках и т. п. Не надо нести всякую чушь про «семидесятые», ладно? Как мы сейчас про «сороковые». Я точно так же, как вы, дышу воздухом и ощущаю приятную тяжесть в желудке после еды и долгое вяжущее послевкусие чая. Я живой человек, такой же, как вы. И такой же современный – я чисто физически не могу быть современнее. Моя реальность не менее сложна, чем ваша. Атомы, чье хаотическое движение формирует и мир и меня, столь же страшны, поразительны и прекрасны, как те, из которых состоит ваш мир. В сущности, это те же самые атомы. И вы, мистер из 2003 года, с переднего края вашего времени, сами неизбежно станете предметом снисходительного любопытства для мисс из 2033-го. Поэтому не надо смотреть на меня сверху вниз. (Разве что вам удалось изменить мир моей поры к лучшему, достичь гармонии и достатка, научиться лечить рак и шизофрению, создать единую научную теорию Вселенной, понятную для непосвященных, дать удовлетворительные ответы на философские и религиозные вопросы нашего времени. Тогда пожалуйста. Тогда некоторая снисходительность к простаку из 1973 года позволительна. Но вам все это правда удалось? Насморк вылечить уже можете? Научились? Вот и я о том же. Ну и как там у вас в 2003-м? Что с войнами? А как насчет геноцида? Терроризма? Наркотиков? Насилия над детьми? Уровня преступности? Неумеренного потребительства? Засилья автомобилей? Дешевой попсы? Таблоидов? Порнухи? Все еще носите джинсы? Да наверняка. Притом что у вас было тридцать добавочных лет на то, чтобы со всем этим справиться!)

Но важнее то, что сейчас 18:38 19 ноября 1973 года. В дворике Клок-Корт темно, его низенькие кусты самшита и мощные треугольные площадки погрузились во мрак. Свет только в окнах столовой, где скоро накроют ужин.

Ничего из будущего еще не произошло. И эта мысль меня греет.

Рядом с постером Quicksilver Messenger Service появилась афиша концерта Procol Harum в театре Рейнбоу, в парке Финсбери. К пробковой доске приколото выдранное из журнала фото принцессы Анны и Марка Филлипса; на другом, редком черно-белом постере – Дэвид Боуи, Лу Рид и Игги Поп стоят, обняв друг друга за плечи, на какой-то нью-йоркской дискотеке. Еще к доске приклеен Марк Болан – он напоминает мне о Джули. Ну и фотография самой Джули – в

школьной соломенной шляпке и с торчащими передними зубами, как у кролика.

На Procol Harum я ездил на поезде из Рединга. Они представляли свой новый альбом Grand Hotel, был и оркестр, и хор. Неплохо так, но что касается гитары, то не уверен, что Мик Грэбем – подходящая замена Робину Трауэру, особенно на Whaling Stories – композиции, которая с первого аккорда заставляет все внутри сжиматься, и слюна во рту наполняется вкусом лучшего гашиша от Глинна Пауэрса. У Трауэра есть что-то такое, чего Грэбему не удастся.

Так что пришлось купить и сольник Трауэра. Первый же трек – I Can't Wait Much Longer[20 - Я не могу больше ждать (англ.)] – полон огромной, невыносимой для меня печали. (Хотя я до сих пор его люблю. В безысходности там сквозит и страсть, и дурман, и какие-то живые вещи. Если хочется чистого отчаяния, без примеси утешения, самородного ля-минорного суицидального концентрата, это вам к группе Soft Machine – Facelift или Slightly All the Time из альбома Third.)

Я беру из углового шкафчика белый вермут. В это время я принимаю голубую таблетку с бокалом белого шамбери из Солсбери, со льдом. Самочувствие сносное, как говорится, пока на грани. Бывали дни и похуже. Ну, теперь выпьем до дна.

Порою кажется, что хорошую музыку мне лучше не слушать. Скажем, Пятую симфонию Сибелиуса, когда на последних тактах вся земная тяжесть словно проворачивается на оси. Сделано здорово, главная тема исподволь развивается и полностью высвобождается в финальном крещендо. Но видеть то место, о котором она повествует, мне совершенно не хочется, а тем более в нем оказаться.

Вчера я слушал поздние квартеты Бетховена. Очень зимние по настроению, согласитесь. Но в них – ощущения человека, думающего о смерти. И все же он не может скрыть некоторого удовольствия – от себя самого. Я стар, я имею полное право больше не бояться палящего солнца. Плачьте обо мне, восхищайтесь мной. Потакайте мне – я это заслужил.

По?зднее – значит слабое. Ненавижу поздние произведения. Последние смазанные «Кувшинки» Моне, например, – хотя, возможно, у него просто начались проблемы со зрением. В «Буре» Шекспира от силы дюжина достойных строк. Вот и думай. «Тайна Эдвина Друда» Диккенса не идет ни в какое

сравнение с «Большими надеждами». Аппликации Матисса похожи на корявые поделки первоклашек из моей начальной школы. «Проповеди» Джона Донна. Керамика Пикассо. Где взять силы?!

Как раз сейчас наши университетские общественники очень озабочены «совместным проживанием»: в смысле, могут девушки и юноши учиться в одном колледже или нет. Собственно, общее обучение практикуется в данный момент только в Кингз-колледже. В среду у нас состоится факельное шествие по поводу (не в направлении) колледжа Святой Екатерины, чей глава, как считается, стоит за инициативой не пускать девушек (в этом контексте мы говорим «женщин») в мужские колледжи. А на той неделе собираюсь в столовую Тринити-колледжа на так называемый «обед за совместное проживание». Потому что Дженнифер туда тоже придет, уверен. Она не особо вовлечена в политику, Джен, хотя и явно не прочь вовлечься; но у нее реально времени нет, со всеми концертами, фильмами, театрами, посиделками на холодных крошечных верандах, еще она пишет для университетской газеты, идет на диплом с отличием первой степени, еще Джен-кружок (там, кстати, не без политики), уборка (чтобы всем было уютно), письма родителям, волейбол – и секс.

Но «совместку» она, думаю, поддерживает. Девчонки тоже имеют право на то, что заполучили парни, – а именно на лучшие колледжи. И на то, чтобы не накачивать себе икры, каждый день крутя педали до своего здания на выселках – охраняемого, но отнюдь не как памятник архитектуры.

Угостят на этом обеде, надо думать, кишем и салатом на бумажных тарелках и с большим количеством лука плюс бокал Hironnelle или просто кофе с молоком. От такого кофе после еды блевать тянет. Евреи небось не дураки, что кашрут придумали.

Что думаю я про «совместку»? Думаю, что семеро святых отцов-пуритан, основавших мой колледж, были бы в ужасе от одной мысли о том, что гуди Аркланд и остальные ведьмы осквернят своим присутствием комнаты Нью-Корта. Стройте себе отдельные колледжи, блудницы, облаченные в джинсу, подумали бы отцы-основатели. И ведь их можно понять: невозможно идти на поводу у всякого модного веяния, нельзя уподобляться Англиканской церкви, постоянно подновляющей свои вечные истины. Либо мы считаем Христа Богом, в таком случае Он знал, что делал, когда выбирал в апостолы только мужчин. Либо он – всего лишь незадачливый галилейский женоненавистник и, стало быть, вполне подпадает под ревизию. Но одно исключает другое. И насчет

«совместки» я того же мнения: либо мы имеем истину, тогда она не может устареть, – либо это никакая не истина. (А впрочем, ванные у нас точно сделали бы поприличнее.)

* * *

В связи с ванными снова вспомнился Чатфилд. Сейчас расскажу, что происходило со мной дальше.

Ничего. Теперь я справлюсь. Переживать все по новой я не собираюсь – просто изложу факты. Я вроде уже научился обращаться со всем, что пережил. И так.

Сильнее всего напрягало, что интерес троицы к моей персоне не пропадал вообще. Хотя бы один день в неделю они отвлекались на спорт, на дела, на другие какие-нибудь выходки. Но нет, ничто не шло в сравнение с Энглби Т. (даже сейчас мысленно приставляю к фамилии этот инициал).

При встрече со мной Худ иной раз медлил, словно мысли его витали где-то далеко; но одного моего вида хватало, чтобы вернуть его на землю. Я изучил их расписание и старался не попадаться на глаза. На переменах не поднимался на свой этаж. Учебники держал на полках у лестницы, ведущей на другой этаж. Слонялся по территории, читал все подряд объявления; только когда голод становился нестерпимым, забегал, чтобы схватить со стола хлеб с маргарином, и снова на улицу.

Но за ужином я, конечно, был у них как на ладони. Потом, в полседьмого, проходила переключка, после которой все шли к себе делать уроки – и с этого времени я становился легкой добычей.

Через какое-то время был получасовой перерыв – можешь выпить какао, съесть кусок хлеба с маргарином. Потом общая молитва. Обычно перед ней мистер Тэлбот зачитывал что-нибудь возвышенное из Альберта Швейцера или Клайва Льюиса. Иногда эту духоподъемную функцию брал на себя старшина корпуса, дохлоглазый Кейз.

Иной раз мы доделывали уроки и после отбоя, в строжайшей тайне. Однажды ночью я долго бился над задачкой, уже начало светать. И вдруг заходит

Уингейт. Я в халате и пижаме, а он уже в дневной форме. Вдоль впалых щек висят каштановые космы, физиономия непроницаемая. В отличие от Бейнса с его бешеной злобой и вулканическими прыщами этот был равнодушный, как рыба в омуте. Острый кадык на миг нырнул под тугой воротник, когда Уингейт заговорил:

- Тебе пора принимать ванну, Туалет.

- Не пора. Вечерние ванны у меня по вторникам и пятницам.

- Слышал, что сказано?

Он придерживал дверь, чтобы не закрылась, я покорно поплелся за ним по коридору. Он повел меня вниз, к ванной комнате, это этажом ниже «Переходника». Там были две ванны, душ, на стене несколько раковин, на полу – несколько деревянных скамеек. И на скамейках этих сидели, разумеется, Бейнс и Худ. Но не только они. Кажется, там был Марлоу, Дуб Робинсон (признанный самым тупым в Чатфилде, где за подобный титул еще надо побороться), Лепра Каррен, Крыса Дункан и еще человека два.

- Заходи, – сказал Худ.

- Раздевайся, – сказал Уингейт.

Я покорно скинул халат и пижаму, залез в ванну, вода была холодной.

- С головой, – сказал Бейнс, запихивая под воду мою голову и не отпуская ее. Ручищи у него были огромные. И сильный, как взрослый дядька, сильнее моего отца. Наконец удалось вырваться.

Бейнс расхохотался. Когда били, я обычно почти не рыпался, а это скучно. Вот и разделся сегодня безропотно, они-то надеялись, что я откажусь или начну драться. А в этот раз сопротивлялся, потому что дать себя утопить человек физически не может.

Я начал вылезать из ванны, но Уингейт толкнул меня назад. Вода была не просто холодная, а ледяная.

– Вылезешь, когда я разрешу, – сказал Бейнс, изрыгая лавину ругательств, казалось, они исходят не из горла, а сочатся с гноем из угреватых щек.

Трясаясь от холода, я продолжал лежать в воде. Лучше так, чем пытаться вылезти, тогда придется драться. Нельзя давать им повод распускать руки.

Я добровольно погрузился с головой. Во-первых, надеялся, что это их развлечет, когда азарт притухнет, отпустят.

А во-вторых, физическое страдание заглушало мучительность бытия.

* * *

Хоть каким-то утешением был маленький радиоприемник, который я слушал под одеялом, воткнув в ухо наушник, крохотный, как слуховой аппарат. «Радио Люксембург», 208 метров на средних волнах. Слышимость была ужасная, но этот слабенький радиосигнал связывал меня с нормальной жизнью. Система спортивных ставок Хораса Батчелора[21 - Хорас Батчелор – знаменитый английский гемблинг-консультант, спонсор многих программ на «Радио Люксембург». Сделал себе состояние на рекомендациях, на какую спортивную команду ставить.]... Кейншем, К-Е-Й-Н-Ш-Е-М, Бристоль... Но там был живой смех, и как же мне нравилась их музыка. Битловская Penny Lane – это не песня, это книга, это мир. Группа The Yardbirds с Сэнди Шоу. Дасти Спрингфилд, эта ее непредсказуемая хрипотца в среднем регистре, от которой мурашки по спине, когда я лежал, свернувшись калачиком под серыми шерстяными одеялами. Amen Corner, я от них балдел. Млел от гитары Саймона Дюпре и Big Sound. А Beach Boys с их Wouldn't It be Nice.[22 - Разве не здорово (англ.)] Еще бы! Я потом даже нашел в одном журнале статью про Калифорнию, про каньоны в Лос-Анджелесе, деревянные домики с двускатными крышами (бог их знает, как они на самом деле выглядят), домашних кошек, грязные дороги и длинноволосых девчонок, про легкие наркотики, приветливость и гостеприимство, и каждый спит с кем хочет в этом божественно мягком климате, и как не мечтать обо всем этом «в такой вот зимний де-е-е-ень»...

– Туалет.

Я так заслушался California Dreamin', что у меня едва не случился инфаркт, когда я услышал голос Уингейта и почувствовал мощный удар в поясницу, признак крайней степени ярости Бейнса. Выдернув из уха наушник, я сунул транзистор между колен и сел на кровати.

- В чем дело?

- Вылезай из кровати. Уингейт включил свет.

- Что это?

- Это радио, Уингейт. Транзистор.

- Ты уже перешел в старший класс?

- Нет.

- Почему же у тебя радиоприемник?

- И почему ты слушаешь его после отбоя? - подхватил Бейнс.

- Давай-ка посмотрим, Саймон, что это за штука.

- Упс, Джон! Ты его уронил.

- Ой, беда, боюсь, оно разбилось. Осторожнее, Саймон. Ну вот, наступил, теперь совсем сломал Туалету радио.

- Может, я мог бы... ой, опять уронил.

- Ничего страшного, это разве приемник? Наверное, миссис Туалет достала его из рождественской хлопушки.

- Может, ей снова повезет с хлопушкой? А Туалет как раз успеет перейти в старший класс.

* * *

Холодные ванны стали регулярной пыткой. У меня сводило в паху, когда среди ночи у двери раздавался топот.

Звучит вроде бы не так ужасно, но лезть зимой в холодную воду, да еще ночью... Не пробовали? Не знаю, откуда в Чатфилде столько обжигающе холодной воды, казалось, у них есть труба, подведенная к Балтийскому морю.

Иногда Уингейт развлекался один. Но чаще в присутствии зрителей. Крыса Богарт приходил почти на все сеансы.

Публика на скамейке просто глазела – гоготала и глазела. Вряд ли им самим хотелось участвовать в процедуре. Уингейт обожал удерживать мою голову под водой. Бейнсу больше нравилось, когда я пытался вырваться, а мне оставалось только терпеть и не рыпаться.

Худ тоже глазел, но не хохотал, лишь слегка улыбался. Из этой троицы только он выглядел не как ходячая карикатура: голубоглазый, открытая улыбка, вроде бы парень как парень. Он один пытался представить все это как честную игру и простое озорство. Именно Худ сказал мне, что выливать в постель ведро воды – старинная чатфилдская традиция. Называется «сплеснить концы». Может, в этом был проблеск утешения: что все – часть великой традиции?

Уингейт и Бейнс совсем другое дело. Они не маскировались. Отпетые, конченые.

Впрочем, улыбка Худа тоже не обнадеживала. Коль скоро происходящее – часть заведенного порядка вещей, то его нельзя ни прекратить, ни преодолеть.

Думаю, летучая эта улыбочка выдавала, что ему все-таки неловко. Ею он как бы себя подбадривал. Еще не отвязался на все сто, как Уингейт и Бейнс. Испытывал некоторый напряг, а то и стыд.

Парадокс в том, что издевательства не приносили этим весельчакам удовлетворения, отпускали они меня с несколько обиженным видом. Я мечтал им угодить, чтобы наконец сменили гнев на милость.

* * *

В Нижнем Рукли была кондитерская. Там я покупал иногда пакетик лимонной карамели с ореховой начинкой или какие-нибудь леденцы, ради которых пожилой хозяйке приходилось подставлять стремянку, чтобы дотянуться до большой стеклянной банки. Как только старушка поворачивалась спиной, я мог спокойно забрать с прилавка какой-нибудь из разложенных там шоколадных батончиков. Спешить было незачем – двигалась она по причине артрита еле-еле. Однажды я, пока стоял у кассы, прихватил со стойки зажигалку.

А за карамельки отдал шиллинг, изъятый из брючного кармана Дуба Робинсона.

– Спасибо, милый.

– Это вам спасибо.

Такой же магазинчик имелся и в Верхнем Рукли, только там хозяин был мужчина, и гораздо моложе. Еще он торговал сигаретами, но держал их на полке за прилавком, никак не подобраться. Как-то в субботу я, обогнув магазинчик, зашел в товарный дворик, общий с соседней химчисткой. Сел у высокой проволочной ограды. Около пяти подъехал большой фургон, оттуда стали выносить коробки, этого я и ждал. Раз не добраться до розницы, попробую взять оптом.

Никакой охраны не было. Занося в магазинчик очередную коробку, доставщик даже багажник не закрывал – правда, появлялся буквально через три минуты. Чай, печенье, шоколадки, ириски, полно всего.

Беда только, что я не заметил внутри фургона ни одной вскрытой коробки с сигаретами, они были огромными, а мне бы всего пару блоков. И только уже в конце, когда весь товар был занесен, доставщик приволок несколько полупустых коробок. Приволок, сунул их внутрь, захлопнул багажник и укатил.

Повезло мне на третью субботу. Я тогда заранее сел поближе к багажнику фургона и пригнулся. Водитель зашел через черный ход внутрь, ему нужно было по коридору пройти к хозяину, чтобы тот расписался в квитанции на доставку, но тут зазвонил телефон, водителю пришлось ждать. Ну а мне ждать было нельзя. Я подбежал к багажнику и сунул руку в раскрытую коробку. Два блока...

я надеялся, что там «Бенсон & Хеджес» или «Ротманс», но оказалось – «Эмбесси». В Рукли предпочитают дешевое курево. Я выскочил за ворота и рванул в переулочек, на ходу пряча добычу в сумку с учебниками.

Вернувшись в Коллингем, я залез под кровать, скотчем приклеил блоки к сетке, куда перепрятать, придумаю потом, а пока предстояло их сбыть. Я знал, кому нужны сигареты. К сожалению, это были те, кто меня бойкотировал. Но мне и тут подфартило.

* * *

Однажды на перемене выхожу из «Кормы Джексона» и вижу, во дворике у колонны маячит Дурик Топли. Когда я шел мимо, он тихонько окликнул:

– Энглби!

В первый момент я даже не сообразил, что это он меня зовет. Но потом притормозил и с опаской поинтересовался:

– Чего тебе?

Дурик отлепился от колонны и направился ко мне. Косолапый, очки в роговой оправе, голос басовитый, и все равно было в нем что-то девчачье. Подойдя, он торопливо протараторил:

– Давай смотаемся в воскресенье в кино, если ты согласен, нужно будет отпроситься у Тэлбота, а я знаю, у кого можно одолжить велик.

Он несколько раз затравленно оглянулся на колоннаду.

– Так как? Я сглотнул:

– Это можно.

– Тогда в два у велопарковки, не забудь заранее взять у Тэлбота квиток.

Я не успел ничего сказать, он тут же отвалил, загребая огромными ступнями.

В кабинет к директору можно было попасть только после обеда. Предстоящий поход в кино директор не одобрил.

- Почему с Топли? Почему бы вам не пойти с кем-то из ровесников?

- Но Топли меня пригласил, сэр.

Он придвинул книжечку из бланков, чиркнув что-то, оторвал квиток, на котором была надпись «велосипеды», протянул мне.

- В следующий раз, Энглби, найдите компаньона себе по возрасту.

В следующий раз, Тэлбот, разуйте глаза, тогда, может, увидите, что творится в вашем корпусе.

- Хорошо, сэр.

В воскресенье без пяти два я был у велопарковки.

Встал рядом с этой крытой стоянкой, чтобы особо не бросаться в глаза, и посмотрел на часы. Топли появился неожиданно, вынырнул из-за угла. Подошел и протянул мне ключ от велосипедного замка.

- Велик для тебя взял у Лепры Каррена. Он мне задолжал, я спас его на физике от Бочки Лайнема. Топли в этом сечет! Мы, работники в винограднике Коллингема, должны друг друга выручать.

Он и правда был редкостный дурак.

Езды до местного кинотеатра было минут двадцать. Фильм оказался приличный, со Стивом Маккуином в главной роли, но название уже не вспомню.

После зашли в кафе. Я купил нам по тосту с фасолью и яйцом, чай и шоколадные пирожные, спасибо десятишиллинговой купюре, добытой из спортивных шортов

Марлоу. Я перестал ограничивать себя монетами, поскольку тратил добытое аккуратно и на безопасном удалении.

– Топли, ты куришь?

– Боже сохрани.

– Но наверняка знаешь, кто курит. Среди твоих ребят.

– Это большой секрет.

– Понимаю. Иначе бы не спрашивал. Колись давай. Тебя как-никак чаем угостили.

Уговаривал я долго, пришлось взять его в долю. Он и предложил хитроумный план с «надежными точками» в «Корме Джексона», хотя чего уж там надежного, именно в этом гальюне постоянно висела пелена сигаретного дыма. Но меня это не касалось. Я свой товар оставлял за бачком в «Сральне», закладка на одну пачку. Дурик распродал ее поштучно. Кто у него покупал, я понятия не имел. Отличная цепочка из двух звеньев гарантировала анонимность. Продавали мы на треть дешевле, чем в магазине, а выручку делили пополам. Это очень хорошие деньги. Думаю, распродав первую пачку, Топли смог купить подержанный реостат.

* * *

Что происходило потом? О господи, да сам не знаю.

Дни. Они и есть наша жизнь.

Дни приходили. И уходили.

Я вступил в переходный возраст. Йогурт с давленной малиной мою физиономию пощадил: прыщи не появились. Из пор и фолликулов кожное сало не сочилось, от ног и подмышек не воняло, голос не срывался с альта на бас, а щиколотки не торчали из-под брюк. Единственное, что произошло, – плечи вдруг стали шире, а ступни заметно отдалились от глаз (вот тогда я и купил новые брюки, за

наличные, а не под расписку, к изумлению продавца в магазине при училище). Да еще однажды утром я увидел на простынке свидетельство того, что смогу продолжить род Энглби. Вот, собственно, и все перемены.

Наладив сигаретный бизнес, я взялся за марихуану, хотя это было опасно и доставать ее было трудно. И сбывать – в Чатфилде травкой мало кто интересовался. У шоссе на Лондон я нашел винный магазин, где легко было тырить спиртное, и увозил водку и виски в багажнике велосипеда, который угнал во дворе местной школы для девочек. Бухло было нарасхват, посредником моим стал парень из Ганы, он учился в Гренвилле, мы познакомились на учениях Объединенного Кадетского корпуса. Поскольку по-английски он говорил с трудом, то так и не понял, что со мной общаться не полагается.

Худ и Уингейт наконец-то закончили училище.

Бейнсу оставался еще семестр (невероятно, но факт: успевал он неплохо и в декабре собирался поступать в Оксфорд). Но в октябре по дороге с тренировки здорово расшибся. Я ликовал. Сотрясение мозга с обширным ушибом затылочной части, тройной перелом ноги. Кажется, оступился на мостике через канаву между лесом и площадкой, на которой до темноты отрабатывал удар по воротам. Рухнул в канаву, и головой прямо о бетон. Он сказал, что не помнит, как падал. Доктор Бенбоу объяснил это сотрясением мозга (предварительно, по-видимому, посветив фонариком ему в ширинку).

У Дурика Топли в сундучке для сладостей обнаружили четыреста сигарет «Собрание» и выгнали из выпускного класса. Не знаю, где он их взял. Не у меня. Видно, жадность одолела, начал работать один. И тайник тот еще выбрал. Я товар держал в старом патронном ящике с замком, на оружейном складе. Во время ночной операции на тех самых кадетских учениях главный старшина Данстейбл доверил мне как мичману несколько ключей. Ключи я отдал на другой день, однако успел сделать дубликаты в обувной мастерской в Верхнем Рукли. Как можно держать сигареты прямо в комнате, да еще в сундучке для конфет... Боже ты мой... Без аттестата устроился Дурик, думаю, где-нибудь техником-лаборантом. Или кем-то вроде.

А что я сам? Без Уигейта, Худа и Бейнса жить стало гораздо легче. Но привычка меня игнорировать осталась. Мои одноклассники бойкот сохраняли до упора, до окончания училища. В жилом корпусе Фрэнсис и Маккейн теперь забегали иногда попросить соли или чаю, но я не считал нужным им даже отвечать. Пусть

катятся куда подальше со своей запоздалой дружбой. Когда Тошнот Уэлдон из старшего класса спросил как-то, не хочу ли я сходить с ним на футбол, я объяснил, куда именно ему стоит засунуть свой лишний билетик. Он, похоже, удивился. Вот, собственно, и все. Это уже потом я стал присматриваться к тем, кто поступил позже нас.

Среди новеньких был такой Стивенс, парень увлеченный и общительный. Играл и в самодеятельности, и в команде регби. Ровесники его, похоже, любили. Невысокий, светленький, с нежной кожей и смеющимся взглядом. И учился вроде хорошо.

Его родители привезли после каникул (к началу второго семестра). Типичная семья питомцев Чатфилда выглядела примерно так: бесформенная беспололая мамаша с девчачьими заколками на сидящих нестриженных лохмах; унылый лысый папаша с трубкой; кривоногий лабрадор, шибящий псиной за двадцать ярдов; плюс неуклюжий облезлый тарантас доисторической модели.

А вот у папы-Стивенса машина была новая, без единой царапины и без собаки на заднем сиденье. Сам отец – бодрый и дружелюбный (а главное – еще живой). У матери – белокурые глянцевитые волосы, модная стрижка, фигура – больше двадцати пяти не дашь. Оба не скрывали, что обожают своего смешливого мальчишку. Обняли на прощание, подбодрили шуточками.

На Стивенса я сразу глаз положил.

* * *

Важные перемены происходят так медленно, что и не скажешь, что случилось тогда, а что – уже потом. Человек в состоянии оценить только результат, когда метаморфоза уже свершилась. Мы как раз проходили Вторую мировую. Оккупированной в 1940 году Франции сотрудничество с немцами представлялось делом не только благоразумным, но, если верить «Сапёру» Хиллу, даже благородным, – что упомянуто во второй статье второго Компьенского перемирия и чем неустанно похвалялось французское правительство. Существовал ли он, тот фатальный миг, когда стало ясно: «сотрудничество» зашло слишком далеко, и французы вдруг поняли, что делают самую грязную работу за оккупантов? Тот день – или час, – когда они вдруг перестали депортировать евреев по приказу и занялись этим по собственной

воле? Когда предложили вывозить железнодорожными составами не только французских, но и любых евреев? Или депортировать евреев не только из зоны оккупации, но из всей Франции? Или когда в списки стали включать даже детей, чтобы обеспечить предписанные «квоты»?

И да и нет, и то и другое – все вместе. Настал день и час, когда разумная целесообразность превратилась в то, от чего уже не отмыться. Но в тот момент этого было не понять, потому что любой момент – лишь очередной штрих к тому, что уже сложилось.

Стивенс жил в бывшей моей комнате, в самом конце коридора. Постепенно, семестр за семестром, народ перемещался ближе к середине. Выходя однажды утром из комнаты, я едва не столкнулся со Стивенсом, бежавшим на урок. Новенькие всегда торопятся; у них жесткое расписание, отгулов им не дают, а сами сачковать они пока боятся.

Я окликнул его и сказал, чтобы впредь смотрел, куда летит. Он с виноватой улыбкой извинился. Нетерпеливо перетаптываясь, ждал, когда я отстану.

Не очень-то хорошо, а?

Неделю спустя, ближе к отбою, я что-то заскучал. Уроки все сделал, Джули написал, хотя знал, что она не ответит, а Микки Спиллейн и Драйден уже не лезли в глотку.

Я вышел из комнаты и зачем-то медленно побрел в конец коридора. «Стивен Т. Дж.» – прочел я на узкой полоске над дверью.

Я думал о чем-то своем, когда открыл дверь и увидел склонившегося над книгой мальчишку в халате и в пижаме.

Да, мысли мои были где-то далеко, когда я все-таки заметил выражение ужаса на его лице.

– Тебе пора принять ванну, Стивенс, – сказал я.

Глава четвертая

«Обед совместников» в Тринити-колледже Крис из Селвин-колледжа назвал «отпадным». Народу пришло гораздо больше, чем ожидали. Пироги и вино мгновенно закончились. Джен засобиралась в супермаркет за какой-нибудь едой, я сказал, что я с ней. Народ скинулся по пятьдесят пенсов, и мы пошли... Вот только куда? Кажется, это был продуктовый отдел в «Маркс-энд-спенсере». Напротив аптеки, это точно. Довольно далеко от Тринити. Когда мы вернулись, выяснилось, что кто-то уже сбегал в буфет за сыром и хлебом.

Джен была немного раздосадована, что пропустила дискуссию, хотя, по заверениям Молли, ничего особенного не произошло. Понятно, парни из Фицуильям- и Черчилль-колледжа горячо желали заполучить девчонок в соседки, но даже студенты самых что ни есть древних – Крайст- и Корпус-колледжей – тоже были явно не прочь.

Девушки осторожничали. Они всецело приветствовали равноправие на всех флангах, но при этом чтити традиции своих «синечулочных» заведений и вовсе не жаждали «совместки» в их стенах. Не для того пассионарные феминистки учреждали когда-то женские колледжи, чтобы в опасной близости от девичьих спален разгуливали личности вроде Криса из Селвин-колледжа в футбольных трусах и с наглой ухмылкой.

Какой-то парень из самого Тринити предложил не спешить. Четыре женских колледжа, четыре мужских, остальные уже начали движение к совместному проживанию, насколько им позволяет статус, и лет через десять одолеют весь оставшийся путь.

Идею встретили в штыки. Автора обозвали «фабианцем» и кем похуже.

Парень из Гонвил- и Гай-колледжа сказал, что потребуются две трети голосов всех нынешних и прошлых членов совета, поскольку некое примечание к уставу предполагает учет мнений и пожеланий, в том числе и покойных членов.

Дебаты были жаркими и долгими, но общий настрой – совсем как на вечеринке. Все быстро перезнакомились, к явному взаимному удовольствию. В три часа в обеденный зал вошел привратник и потребовал ключ. Большинству в любом

случае пора было убегать, кому на тренировку, кому на лекцию, кому в лабораторию (сам-то я уже опоздал на лекцию Австралопитека, она начиналась в два).

Крис предложил продолжить дискуссию, но, увы, у него самого тесновато. У Саймона из Пембрук-колледжа обнаружился знакомый член совета в колледже Синди-Сассекс, продвинутый чувак, преподает античную литературу, и жена у него гречанка, современная, конечно, но все равно прелесть, надо бы и его, кстати, вовлечь.

Сварливый привратник не отставал, и тут Молли сгоряча выпалила:

– Можно продолжить у меня дома. В семь. Каждый приносит бутылку. И приводит сторонника.

Дженнифер изумленно на нее уставилась: «У меня?!» – пока Молли раз за разом повторяла их общий адрес.

Потом я заскочил к Стеллингсу, но он слушал пластинку, музыку к фильму «Высшее общество», в своих шикарных наушниках и беседовать не пожелал. Я прошелся по муниципальной лужайке – не то Костям Иисуса, не то Останкам Христа, не то Телу Христову – и оказался на Кинг-стрит. На втором курсе мне удалось взять «королевскую дистанцию» – так у нас называется этот пивной марафон. Правила: в каждом из пабов (их на Кинг восемь) ты должен выпить пинту горького, на все заведения два часа, и без захода в сортир. Если все же блеванул или отлил, назначается штрафная пинта. На всех этапах тебя сопровождает «жокей», уже прошедший пивную инициацию. Моим жокеем был дружок Стеллингса Маккафри, кстати, он завсегда Ньютмаркетских скачек. Он посоветовал плотно поесть, ни грамма воды, но щедро все посолить. После мы отправились в первый паб. Парень, сидевший рядом, слишком быстро выпил пинту, его вырвало сразу, ему налили штрафную, – бедняга так в том же баре и застрял. Я справился с задачей за полтора часа и попал в тройку лидеров. Оказалось, не так уж это и трудно. По возвращении в бар колледжа я почувствовал упадок сил: пришлось принять две кружки крепкого темного эля и джина с тоником вдогонку.

Итак, после обеда совместников, раз уж не удалось поболтать со Стеллингсом, я заглянул к «Футболистам» и выпил пинту «Аднамса», оставив деньги у кассы,

поскольку хозяин по обыкновению спал на полу под стойкой. Я уселся у камина и выпил еще, следя за тем, чтобы заплатить за каждую кружку.

В семь я направился к дому Дженнифер и по дороге выкурил косяк. Позвонил в дверь. Мероприятие только начиналось, но я чувствовал себя на удивление раскованным. Джен была на кухне, возилась с огромным блюдом риса, так что, пока собирались остальные, я сел поболтать с Энн.

К девяти в это холодное и тесное пространство набилось человек семьдесят. В кухню за вином протиснуться было почти невозможно. Весь коридор и дверной проем заняли армейские шинели, кожаные жилеты, бороды и патлы. Всюду, со всех сторон. Я выскочил на воздух, на соседней улице купил себе бутылку вина и сунул в карман, протолкнув пробку внутрь черенком ножа.

Играла музыка – Velvet Underground, Eagles, Can и Roxy Music. Среди гостей было много моих знакомых. Ник с Ханной, другие люди из Типперэри плюс те, кто был сегодня на обеде совместников. Народу набилось под завязку, при этом кто-то даже пытался танцевать, кто-то – выбраться из толпы, кто-то из последних сил удерживал на весу бумажную тарелку с рисом и салатом из зеленого перца с редкими кусочками тунца одновременно с бумажным стаканчиком и пластмассовой вилкой.

Чтобы не толкаться, я ушел со своей бутылкой наверх и открыл дверь спальни.

Там оказалось темно и очень холодно. У стены стоял выключенный газовый обогреватель. На кровать было брошено несколько курток, поверх пухового одеяла в чистеньком наглаженном голубом пододеяльнике. Таких я в Англии раньше не видел – скандинавский шик.

Я притворил за собой дверь.

На письменном столе лежали учебники по истории, три или четыре стопки. Я сел за него. Увидел тетрадки с ее почерком. Кусок фольги со второсортным гашишем (я сунул туда палец и лизнул), шиллингов на десять. Фотография улыбающейся пары средних лет на фоне домика, открытка с корабликом («С днем рождения!») и полупустая баночка с блеском для губ.

Я глянул в окно. В темноте поблескивали сланцевые крыши кирпичных домиков. Я представил себе сидящего там кота, включенный газовый обогреватель, толстые лыжные носки (хоть и не знал, как они выглядят) и дымящийся утренний чай. Представил живых, веселых, обеспеченных родителей и шутки про зубную пасту, знакомых парней и речей Брайана Мартина.

Я осторожно открыл ящик стола. Под несколькими конвертами, блоком писчей бумаги и невскрытой упаковкой противозачаточных таблеток лежал объемистый дневник, плотно исписанный убористым почерком.

Я вдруг подумал о матери – на какое-то мгновение. А потом выкинул из головы и ее, и еще многое другое.

* * *

Утром я нашел в своем почтовом ящике письмо от доктора Вудроу, упитанного профессора, к которому приходил на собеседование.

«Уважаемый мистер Энглби, буду крайне признателен, если вы в ближайшее время заглянете ко мне в приемную (G 12), есть небольшой разговор. Если вас устроит, то во вторник, в двенадцать. Питер Вудроу».

И вот теперь я, как в то зимнее утро, стоял у знакомой двери. Интересно, а что стало с тем умником, пришедшим вместе со мной? С тех пор я его ни разу не видел.

– Прошу, – сказал профессор.

Очки у него сползли на середину толстого носа; седые волосы настоятельно требовали стрижки. Он указал на кресло, в котором в прошлый раз сидел Джеральд Стенли и задавал свои дурацкие вопросы.

– Как вам естественные науки? Неожиданный разворот для гуманитария.

- Согласен. Сперва было трудновато, пришлось нагонять, но сейчас вроде бы все нормально.

- Насколько мне известно, вы замечательно справляетесь. Еще не думали, чем займетесь после окончания?

Вудроу сидел за тем же столом, вновь листая мои бумаги.

- Нет пока.

- Иногда мне удается оказать содействие. Вообще-то в университете есть комиссия по распределению... Но в некоторых случаях я могу неофициально... подойти не так формально... Не хотите рейнского? Или хереса?

- Я не пью.

- Понятно. Вы считаете себя замкнутым человеком?

- Не больше, чем многие другие. У меня есть друзья.

Стеллингс, Джен.

- Вот и хорошо, друзья - это важно. Но главное - самодостаточность?

- Пришлось ей научиться.

- Хорошо, хорошо. Совсем даже неплохо.

Интонация была вежливо-бодрой, будто мы на каком-то банкете, и Вудроу надо выбирать между сырным суфле и апельсиновым поссетом.

Он закурил трубку.

- Вы владеете иностранными языками? Немецкий?

Французский? Русский?

- Не особенно. Немецкий и французский на уровне средней школы.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Перевод Т. Бородай.

2

Имеется в виду Грэм Грин.

3

Слова, начертанные на стене дворца во время пиршества вавилонского царя Валтасара. Призванный им пророк Даниил объяснил смысл их так: Бог исчислил царство твое, оно взвешено на весах и разделено (Дан. 5: 25–28).

4

Пьеса Артура Миллера, 1953 г. (Прим. перев.)

5

Билли Бантер – герой юмористических рассказов Фрэнка Ричардса (псевдоним писателя Чарльза Гамильтона), толстый очкастый школьник, лентяй и жадина. Первый рассказ вышел в 1908 году, с тех пор про Билли Бантера снят не один фильм и написана не одна книга.

6

Имеются в виду Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, в 1953 году открывшие структуру ДНК. (Прим. перев.)

7

«Она влюбчивей многих и живет на побережье» (англ.) – строки из композиции британской рок-группы T. Rex «Hot Love» 1971 года.

8

Имеется в виду сонет Джона Мильтона «О моей слепоте». (Прим. перев.)

9

Прозвище одного из братьев Маркс, комика Джулиуса Генри Маркса (1890–1977) – Граучо – происходит от английского слова grouch – ворчун, брюзга.

10

«Девушка из северной страны» (англ.).

11

«Огонь и дождь» (англ.) – название фолк-композиции Джеймса Тейлора (1970).

12

То есть в 1971 году. (Прим. перев.)

13

Мясные лавки (фр.).

14

Здесь: трехцветные флаги (фр.).

15

Мэрии (фр.).

16

Суп дня (фр.).

17

Джеймс Фрезер Стирлинг (1926–1992) – шотландский архитектор; современное здание библиотеки исторического факультета Кембриджа было построено в 1960-е годы.

18

Что будет, то и будет (фр.).

19

Имеется в виду премьер-министр Эдвард Хит. (Прим. перев.)

20

Я не могу больше ждать (англ.).

21

Хорас Батчелор – знаменитый английский гемблинг-консультант, спонсор многих программ на «Радио Люксембург». Сделал себе состояние на рекомендациях, на какую спортивную команду ставить.

22

Разве не здорово (англ.).

Купить: https://telnovel.com/folks_sebast-yan/englbi

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)